

Н.М. МЕНЬКОВА

ГОДЫ ВОЕННОГО ДЕТСТВА

ФРАГМЕНТЫ ВОСПОМИНАНИЙ

МОСКВА 2008

УДК 82-94
ББК 84(2Рос-Рус)6
М-51

Н.М. Менькова

М.-51. Годы военного детства. Фрагменты воспоминаний. - М.: «Книга и Бизнес», 2008. – 54 стр.

*В оформлении использованы материалы открытого доступа
из Интернета.*

Всё больше отдаляется от нас во времени Великая Отечественная война, и всё меньше остаётся людей, переживших эту эпопею: уходят непосредственные участники боёв и героические труженики тыла. На последние жизненные рубежи выходит поколение, которое ещё может помнить события тех лет: это дети – свидетели войны. Я принадлежу именно к этому поколению, и мои воспоминания о том, что мне довелось в то время увидеть и пережить.

ISBN

1941 год. Первые дни войны

Я хорошо помню день начала войны – 22 июня 1941 года... Мы с бабушкой жили на даче в Перловке, недалеко от Москвы. Стояла прохладная пасмурная погода, кажется, даже накрапывал дождь, потому что наша мама пришла со станции под зонтом. Она в то время работала в проектно-институте ГИПРОМАШ, и возвращалась утром этого воскресного дня после ночного дежурства: в предвоенные годы все учреждения должны были оставлять на ночь сотрудников, сидевших на своих рабочих местах до утра, так как считалось, что Сталин не спал, работал, и ему в любой момент могла понадобиться какая-нибудь справка... Мама рассказала нам, что одному из дежуривших инженеров позвонила из Киева жена – артистка гастролировавшего там московского театра – и спросила, всё ли в Москве в порядке. «Да, – ответил инженер. – А что случилось?» – «А то случилось, что нас бомбят!» ...Помните: «Киев бомбили, нам объявили...» Да, так началась война...

Около часу дня к нам бурей ворвались наши родственницы, жившие на соседней даче. «Война! Война! – взволнованно заговорили они с порога. – Только что Молотов по радио выступал...» Бабушка наша сразу засуетилась, засобиралась в Москву: её младший сын Андрей был призывного возраста, и она несколько не сомневалась, что он будет немедленно мобилизован. Помню её как бы сразу осунувшейся и постаревшей; дрожащими руками она собрала в сумку свои вещи и, надев свою старомодную шапочку, отправилась на станцию. Сердце её не обманывало: Андрюша в первые же дни войны ушёл на фронт, и уже в начале сентября бабушке сообщили о том, что он пропал без вести.

...Мы прожили на даче ещё несколько дней и даже вырыли во дворе «щель» – неглубокий окоп, где можно было бы укрыться во время воздушных налетов. Но маме, видимо, это укрытие показалось ненадёжным, да и вообще ситуация становилась всё более удручающей. Немцы развернули сразу же широкое наступление, наши войска отходили всё дальше на восток – это было всем ясно, несмотря на ободряющие сводки Совинформбюро. Так что в конце июня мы вернулись в город.

В Москве уже всюду шла подготовка к обороне, тем более, что начались воздушные тревоги, правда, говорили, что они были пока что «пробными», как бы учебными. Однако мама первым делом заклеила окна наших комнат крест-накрест бумагой, чтобы стёкла не вылетели во время бомбёжек. Были также приняты меры для осуществления затемнения: каждый вечер окна занавешивались чем-нибудь светонепроницаемым, чаще всего, мне кажется, одеялами... Тёмные улицы, окна без единого проблеска света – такими мне запомнились города военного времени...

В зданиях, где были подходящие подвальные помещения, устраивались бомбоубежища. В нашем доме на Уланском переулке как раз были обширные подвалы, и с первых дней войны началось их переоборудование. В этих мероприятиях принимали участие все трудоспособные жители дома, а руководителями бы-

ли пожилые или по каким-либо параметрам не годные к строевой службе мужчины. Они же были назначены на руководящие должности по линии гражданской обороны, например, «наблюдающий за дверьми» (по-видимому, имелись в виду двери бомбоубежища) или «ответственный за дежурства на крыше». Последнее назначение было особенно ответственным, так как предполагалось, что во время воздушного налёта люди, стоящие на крыше, будут гасить зажигательные бомбы и тем самым сумеют спасти дом от пожара. Чердаки дома в связи с этим оборудовались ёмкостями с песком, а дежурным выдавались брезентовые рукавицы.

Однако далеко не во всех домах Москвы можно было устроить надёжные укрытия: в то время в городе было много ветхих деревянных строений, поэтому в первые дни войны я видела, как множество людей становилось часов с пяти вечера в очередь около станций метрополитена: там можно было ночевать, не опасаясь бомбёжек. Люди держали в руках одеяла, подушки, чемоданы, на которых, вероятно, укладывали спать своих детей, но я думаю, что ночёвки в метро были еще менее комфортабельными, чем в подвале своего жилища...

Но даже при том условии, что бомбоубежище располагалось в нашем подъезде, уже первые воздушные тревоги показали маме всю сложность перемещений в укрытие и обратно с двумя детьми и необходимым минимумом вещей. Нужно было разбудить нас с братом среди ночи, под рёв сирены одеть и свести вниз по лестнице с шестого этажа (лифт, естественно, не работал), устроить сонных детишек на сделанных в подвале нарах. А затем после отбоя следовало проделать всю процедуру в обратном порядке – и так два-три раза за ночь.

Мама стала думать об эвакуации, особенно после того, как в Москве появились первые беженцы. Одна мамина знакомая рассказала нам, что она гостила у родственников в небольшой белорусской деревеньке с двумя маленькими дочками двух и пяти лет. В один из первых дней войны они сидели на лавочке возле дома, как вдруг появился немецкий самолёт и стал обстреливать её и детей из пулемёта. К счастью, она быстро сориентировалась: стащила девочек под лавку и прикрыла их своим телом, так что никто не пострадал, но в тот же день они ушли пешком из деревни, оказавшейся в прифронтовой полосе. Малышку женщина несла на руках, а девочка побольше шла сама. В толпе беженцев им удалось дойти до ближайшей железнодорожной станции и с трудом, показывая паспорт с московской пропиской, вернуться домой...

Подобные рассказы, а также появившиеся в газетах сообщения о зверствах фашистов в оккупированных районах маму очень волновали и расстраивали. Поэтому, когда на двери нашего подъезда появилось объявление о том, что учеников соседней школы №281, куда я поступила перед войной, увозят эшелонам в глубокий тыл, мама решила отправить с ними меня и пятилетнего Сашу. Это решение ей далось нелегко: она очень нас любила и никогда с нами не расставалась... Всю ночь мама плакала и собирала нас в дорогу. Она сшила два маленьких вещевых мешка и вышила на них наши имена и фамилии, а утром мы пошли на школьный двор, заполненный взрослыми и множеством детей. Все ждали автобусов, чтобы ехать на вокзал; малыши плакали и жались к родителям... Мама некоторое время

созерцала эту картину, а потом, закусив губу, схватила нас с Сашей за руки и решительно направилась к дому. Мы едва поспевали за ней, а на спинах у нас болтались мешочки, на которых было вышито «Саша» и «Надя»...

Итак, первая попытка эвакуировать детей не удалась, и мама решила уехать вместе с нами и с бабушкой в Астрахань, откуда она была родом. но, когда папа пошел на вокзал брать билеты в Астрахань, оказалось, что регулярные поезда уже ходят только до Саратова. На один из последних поездов, которые пока шли до этого города, папе удалось взять билеты, хотя мама очень тревожилась о том, как мы сумеем устроиться в чужом городе. Она полагала, что в Саратове у неё не осталось никого из знакомых, хотя она жила там в 1918-19 гг. и даже заканчивала там школу. Однако накануне отъезда маме неожиданно позвонила её гимназическая подруга и дала на всякий случай адрес и телефон своей знакомой, жившей в Саратове с семьёй.

В один из первых июльских дней после экстренных ночных сборов мы поехали трамваем на Павелецкий вокзал. Провожали нас папа и наша няня Даша. Отец мой, профессор Артиллерийской академии, уже переведённый в то время на военное положение, выглядел хмурым и озабоченным. Помню, что в тот день он опять начал курить, хотя несколько лет назад курение было ему запрещено по состоянию здоровья. А няня Даша, старушка в чёрной монашеской одежде, рыдала во весь голос и обнимала нас с братишкой, испуганно притихших на нижней полке вагона.

Но вот поезд тронулся и набрал скорость. Меня с непривычки тут же укачало, и я легла на жёсткую вагонную полку. Помню, мне давали пить из бутылочки холодный, чуть подслащённый чай, который мама предусмотрительно взяла нам в дорогу. На стоянках мне делалось лучше, я поднимала голову и выглядывала в окошко или даже выходила с мамой ненадолго на перрон. На одной из таких прогулок я увидела стоящий рядом с нашим составом санитарный поезд: изо всех окон и дверей выглядывали люди в бинтах и гипсе, врачи и медсёстры в белых халатах сновали по платформе... Таким впервые предстал передо мной суровый лик войны... А потом наш поезд тронулся дальше. Началась наша военная «одиссея».

В Саратове

Поезд от Москвы до Саратова шел двое суток, и, наконец, ранним летним утром мы очутились на платформе вокзала незнакомого города. Мама оставила нас с бабушкой около чемоданов, а сама пошла звонить Тамаре Никифоровской. Вскоре она вернулась, сказала, что нас уже ждут, и дальше я вижу себя в просторной и светлой квартире Тамары Дмитриевны, которая оказалась приятной женщиной, темноглазой брюнеткой, очень живой и подвижной. Она закончила биологический факультет Саратовского университета, вышла замуж за своего профессора и имела от него двух сыновей – шестилетнего Алёшу и двухлетнего Митюшку.

Нас приняли как родных, и пока мы отдыхали и обедали, мать хозяйки – Валентина Николаевна, молодая женщина с пышной причёской из седых волос, съездила к себе домой и договорилась там о жилье для нас. Так что к вечеру мы обосновались в большом деревянном двухэтажном доме со множеством пристроек и двумя открытыми галереями, выходившими во двор. В этом доме в одной из самых удобных квартир жила и сама Валентина Николаевна со своей старенькой матерью, бабушкой Тамары Дмитриевны.

В доме, где мы поселились, обитало много немецких семей. В Саратове перед войной вообще жило немало немцев: ведь на противоположном берегу Волги располагалась Республика немцев Поволжья, центром которой был город Энгельс. Нашей хозяйкой тоже была немка - фрау Винтерголлер, жившая с сыном-подростком по имени Вольдемар. Она сдала нам одну из двух своих комнат, сверкавших умопомрачительной чистотой. У нашей хозяйки было больное сердце, она часто плохо себя чувствовала, и навел чистоту в квартире, драил полы и стирал бельё её сын - голубоглазый, курносый и очень добродушный мальчишка, которого ребята во дворе звали «Вовка Винтики-Ролики». Ещё была у фрау Винтерголлер дочь Ирма, которая была замужем за командиром Красной армии, но она жила отдельно и у матери появлялась редко, так как у неё был грудной ребёнок.

Было самое начало войны, и в Саратове еще во многом сохранялся настрой мирной жизни: в булочных продавался вкусный немецкий «кухон», работали музеи и выставки, по вечерам в городском саду – Липках - играл военный духовой оркестр, который мы с бабушкой ходили слушать. Помню, ей очень нравился дирижёр, который управлял музыкантами с неподражаемой элегантностью. А в саратовскую картинную галерею – Радищевский музей мы ходили всем семейством много раз. Там при входе была вывешена огромная картина «Убийство царевича Дмитрия», вероятно, написанная каким-нибудь местным художником. На этой картине возле убитого, но как бы заснувшего маленького царевича вся в слезах стояла на коленях его мамка в кокошнике, подняв кверху руки и клятвенно уверяя окружающую их толпу: мол, «Не виновата я!» А неподалеку в кустах были видны мрачные фигуры удалявшихся убийц с длинным ножом, не оставлявшим сомнения в совершённом злодеянии. Мне очень нравилась эта картина, она даже вызывала во мне какое-то потрясение. Я всегда долго стояла перед ней, прежде, чем войти в музей, чувствуя, что на глазах у меня закипают слезы.

...Со временем в Саратове всё заметнее стало ощущаться дыхание войны. Мне кажется, что при нас там ввели карточную систему, и мама устроилась на работу, чтобы получать «служащую» карточку. Город заполнялся эвакуированными - тогда это было новое злободневное слово, заменившее привычное - беженцы. В иных комнатах нашего дома уже жило по две семьи; на галереях чадило множество керосинок. Во дворе рыли «щели», и все от мала до велика усердно изучали ПВХО – Противовоздушную и химическую оборону. С тех пор запомнилось: «иприт», «люизит» - слава Богу, дальше теории это никуда не пошло.

В августе за нами приехал папа, которого от Артиллерийской академии прикомандировали к военной части в городе Куйбышеве (так тогда называлась Сама-

ра). Папа пробыл в Саратове дня три, но успел сделать интересное наблюдение. Над домом, где мы жили, была видна желтая, покрытая редкой низкорослой растительностью гора, и папа предположил, что название города происходит от этой горы: тюркское Сары-тау – Желтая гора, – а по-русски получается Саратов. Не знаю, так ли это на самом деле.

Незадолго до нашего отъезда мы стали свидетелями депортации немцев из Поволжья, где эти люди жили с XVIII века. Наш дом, как я уже писала, был преимущественно немецким, и хотя я была еще мала, но помню ощущение тревоги, какой-то беспомощности перед надвинувшейся бедой у окружающих меня людей... Отец Эрны Брейзе, девочки, с которой я подружилась в Саратове, был доцентом местного сельскохозяйственного вуза, и он в полном отчаянии хлопотал, надеясь, что институт поможет ему остаться с семьёй в городе... А дочь нашей хозяйки ходила в военкомат и представляла справки, что она жена русского, к тому же фронтовика... Но всё было бесполезно...

Трагические события надвигались неотвратимо; уже стояли на вокзале составы теплушек, и в течение нескольких суток немцы Поволжья были выселены из родных мест и отправлены в необжитые районы Зауралья, Алтая и даже на крайний север – на Таймырский полуостров. Много лет спустя моя знакомая, северокавказка по специальности, рассказывала мне, что в 50-х годах прошлого века в Ямало-Ненецком национальном округе проживало ненцев – 1%, а немцев – 99% . Впрочем, хозяйственный этот народ приспособился к жизни и в суровых заполярных условиях; в немецких хозяйствах даже культивировалось молочное животноводство... Хочу надеяться на то, что потомки депортированных в своё время немцев Поволжья сейчас имеют возможность заниматься хозяйственной и всякой другой деятельностью на своей исторической родине...

Так уж случилось, что мне пришлось наблюдать депортацию ещё одного народа – крымских татар. Это было в 1944 году в Самарканде. Пронёсся слух, что в город привезли эшелон (или эшелоны) с этими, как тогда говорили, «изменниками», и я с другими ребятами побежала на стадион. Мы влезли на забор и видели, как прямо на траве расположилась масса народа. Горели костры, люди устраивались на ночлег под открытым небом, благо, вероятность дождя самаркандским летом равна нулю. На другой день крымских татар повезли дальше, в район. От своих самаркандских знакомых я знаю, что этот народ прижился на новом месте: в Средней Азии тёплый климат, плодородные земли и пастбища, да и местное население этнически близко крымским татарам... И всё-таки ностальгия заставляет этих людей возвращаться к могилам своих предков... А в Крыму их место уже занято...

Куйбышев во время войны

К месту назначения папы, в Куйбышев, мы отправились в конце августа 1941 года. Плыли по Волге на пароходе, переполненном людьми. Возможно, во время войны водный транспорт был специально задействован для пассажирских перевозок, так как железные дороги были загружены военно-стратегическими гру-

зами. Река была буквально забита различными судами, баржами, буксирами. Водой перемещались многие грузы: лес и другие строительные материалы, песок, какие-то непонятные для меня механические устройства. На баржах были устроены жилые помещения – «домики», возле них очаги, на которых варили пищу. Вечером казалось, что по широкой реке плывёт множество огней... И ещё: всюду пели, над водой звучали мелодии знакомых всем песен. С нижней палубы нашего парохода также доносился слаженный хор голосов: пассажиры третьего класса, сидя на своих мешках и чемоданах, пели известные народные песни: «Есть на Волге утёс», «Из-за острова на стрежень»... Моя мама любила народное пение, красиво вторила мелодии, и мы с братишкой, стоя у борта, пели вместе с ней...

В Куйбышеве на пристани нас встретил военный комиссар, и вместе с ним мы отправились в военный городок, на территории которого располагалась военная часть, куда был прикомандирован наш отец. Но постоянное жильё мы обрели не сразу и несколько дней ночевали в клубе, причём нас с Сашей укладывали на сдвинутых стульях, бабушка спала на диване, мама располагалась на бильярдном столе, а папа спал, сидя в кресле. Впрочем, он в то время был много занят: под его руководством выполнялся какой-то ответственный оборонный заказ, так что папа уходил рано утром, а вернувшись поздно вечером, почти мгновенно засыпал в своём кресле. Только через несколько дней нас поселили в доме для военнослужащих в освободившуюся небольшую комнату.

Было начало осени, и первого сентября я пошла в школу, во второй класс. Хотя в первом я не училась, но читала и считала хорошо, учительница Лидия Ивановна меня хвалила. Письмо, правда, несколько хромало, но усовершенствоваться в искусстве чистописания мне в то время не удалось. Мы проучились несколько дней, и нас отправили на берег Волги за песком, видимо, для тушения зажигательных бомб. Мы совками нагружали сыпучее в мешки и переносили их в здание школы. День был ветреный – в Куйбышеве вообще всегда дуют сильные ветры, особенно на возвышенных местах. Я замёрзла в лёгком пальтишке, устала и к вечеру почувствовала лёгкое недомогание. Но утром я всё-таки пошла в школу и отсидела все четыре урока, а вот домой уже дошла с трудом. Голова была как чугунная, всё тело ломало, а от запаха морковных котлет, которые жарились на керосинке, меня затошнило. Мама встревожилась, измерила мне температуру: 39,5!..

...После тяжелого гриппа врачи нашли у меня осложнение на сердце, так что я месяца два пролежала в постели. Потом мы переехали в другую часть города, на территорию Куйбышевского индустриального института. В школу, где я начала учиться, было далеко ездить, да и пропустила я много, так что родители решили подержать меня дома, благо, в запасе у меня был целый год.

А на новом месте мы оказались следующим образом. Директор индустриального института по фамилии, кажется, Волокитин, умело воспользовался военной ситуацией и привлёк к работе в своём институте эвакуированных в Куйбышев профессоров и вообще квалифицированных преподавателей из разных городов страны. Профессорам предоставлялось жильё, выдавалось топливо и кое-что дополнительно из продуктов. Папа преподавал в институте по совместительству, но

согласился переехать из военного городка в институтское общежитие для преподавателей, находившееся в самом центре города. Наверное, это было во всех отношениях удобнее, чем жить на окраине, тем более, что нам предоставили большую комнату - метров 30, с окном во всю стену. Правда, из-за этого окна протопить наше помещение было трудно, поэтому всегда было холодно, тем более, что морозы на улице стояли страшные - больше сорока градусов, да ещё и с ветром...

Та зима 1941-42 года была для всех очень сложной. С продуктами уже было очень плохо, чтобы отоварить карточки бабушке приходилось стоять целыми днями в очередях. Мы с Сашей всё время болели, особенно в этом смысле отличалась я: периодически у меня поднималась температура до 39° и выше, врачи даже ставили диагноз - возвратный тиф. При этом заболевании обычны резкие перепады температуры, и когда мне становилось немного лучше, я читала. Особенно большое впечатление произвела на меня в то время повесть Стивенсона «Остров сокровищ». Потом, когда вновь поднималась температура и лихорадка возвращалась, меня мучили видения, я как бы становилась участницей прочитанного и вскакивала с диким криком: «Билли Бонс! Билли Бонс! Боюсь Билли Бонса!» Помню себя лежащей в жару на раскладной кровати за шкафом. На фоне горячечного бреда вдруг возникает папа, который, услышав мои вопли, подходит и даёт мне попить, а потом трогает мой лоб: «Ого!» Он заботливо укрывает меня одеялом, и я снова проваливаюсь в небытие...

Ближе к весне я немного поправилась, огляделась, познакомилась с новыми соседями, которых было великое множество, так как мы оказались в перенаселённом общежитии, располагавшемся в оригинальном доме – перестроенной бывшей архиерейской конюшне. Это было невысокое, но очень просторное и вместительное строение на углу Вилоновской и Галактионовской улиц. Впоследствии я несколько раз побывала в Куйбышеве и каждый раз стремилась увидеть этот памятный дом моего детства и снова ощутить на себе влияние «масштабного фактора» жизни: дом казался мне, взрослой, маленьким и вросшим в землю; громадный, по воспоминаниям, двор оказывался тесным пятачком, а таинственно гудевшее своими мастерскими и лабораториями институтское здание выглядело невзрачным двухэтажным строением в стиле модерна тридцатых годов. А в 1985 году, придя на знакомое место, я увидела новый большой дом с фасадом, выходящим на Вилоновскую улицу. «Архиерейскую конюшню» снесли, а от прежнего осталась только старая трансформаторная будка, на дверях которой во времена моего детства красовалась табличка: «Не трогай! Смертельно!» - что заставляло меня украдкой прикасаться к ужасной двери, испытывая судьбу.

Так вот, в этой бывшей архиерейской конюшне, разгороженной на множество комнат разного размера и конфигурации, обитало громадное количество семей. Зимой 1941-42 года Куйбышевский индустриальный институт располагал целым созвездием известнейших профессоров со всей страны. Помню, со слов папы, электротехника Штурмана из Харькова, теплотехника профессора Кнорре из Ленинграда, профессора Одельского из Одессы.

Штурманы жили через комнату от нас, у них был очень больной мальчик. Жена Штурмана, молодая ещё женщина с усталым печальным лицом, иногда заходила к нам и просила мою добрую бабушку посидеть с мальчиком в своё отсутствие. У Шурика был костный туберкулёз, и это заболевание привело ребёнка к гибели... Смерть Шурика мы все тяжело переживали, быть может, тогда ко мне в первый раз пришла мысль о непрочности человеческого бытия...

Профессор Кнорре бывал у нас дома; он запомнился мне своим необычным видом: высокий, крупный старик с длинными седыми волосами, большой бородой, голубыми, какими-то «льдыстыми» глазами. Это был настоящий «Лесной царь» из баллады моего детства. Впоследствии я узнала, что он принадлежал к старинному прибалтийскому роду, где числились и музыканты, и довольно известный писатель. У профессора Кнорре было 10 человек детей, и его младшие: Дима и белокурая Марианна – играли со мной во дворе; они были немного старше меня.

Ну, а профессор Одельский, жизнерадостный остроумный одессит был в нашем общежитии «притчей во языцех», так как в одной комнате с ним жили три его жены, да еще со своими родственниками. Ситуация была не столько комической, сколько прямо-таки трагедийной, и сам Одельский объяснял её моему отцу следующим образом: «Всю жизнь я прожил со своей женой Галей, это моя верная подруга с юных лет. Но, к сожалению, у нас нет детей, я же безумно хотел иметь ребенка. У меня на кафедре работала машинистка, так я подумал: что она стучит без толку? Пусть стучит с толком! И вот родился мальчик Яша, которого я обожаю... Начало войны застало меня в Киеве, где мой умирающий приятель поручил мне свою жену, умоляя при этом: "Спаси Евочку!" Я привез Евочку в Одессу, и она стала моей последней любовью. Теперь скажите, кого я должен был взять в эвакуацию, а кого оставить? Галю? Яшу с его матерью? Евочку?»

Я не помню всех обитателей «архиерейской конюшни», но, без сомнения, публика была весьма интеллигентной, образованной, читающей. Между комнатами путешествовали интересные книги и журналы, которые передавались из рук в руки. Моя бабушка была страстной любительницей чтения, притом чтения вслух. Она много общалась с соседями в очередях за продуктами и на общей кухне, где топилась печь с несколькими конфорками (кроме того, в каждой комнате были керосинки и примуса), так что книжный поток шёл в основном через неё. Электричество давали нерегулярно, поэтому вечерами мы располагались за столом возле коптилки или керосиновой лампы и слушали бабушкино чтение. Из прочитанного в то время особенно запомнилась «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова, напечатанная еще до войны в «Романе-газете», а также «Севастопольская страда» Сергеева-Ценского.

Кроме того, я много читала и сама: пресловутый «Остров сокровищ», «Айвенго» – роман, который стал с тех пор моей любимой книгой... Когда я читала о любви рыцаря Айвенго к прекрасной Ровене или о неразделённом чувстве Ревекки к Айвенго, то вдруг с удивлением ощутила, что у меня как-то странно начинает замирать сердце. Я тогда не понимала, что это было предчувствие любви...

Читающие дети составляли свой, так сказать, «клуб книголюбцев»; среди ребят выделялись два конопатых мальчика, братья Рюрик и Генрих, в просторечии именуемые Юркой и Генкой. Рюрик был особенно серьёзным и начитанным юношей лет десяти, он даже вёл особый дневник, куда записывал наименование, краткое содержание прочитанных книг, а также собственную их оценку. Я с благоговением рассматривала этот дневник, но не могла согласиться с отзывом Рюрика о повести А. Толстого «Детство Никиты». Рюрик написал, что она «скучна и малоинтересна», а я считала, да и сейчас считаю, что это одна из самых замечательных детских книг.

Зимой 1941-42 года Куйбышев стал как бы временным столичным центром: немцы стояли под самой Москвой, там шли кровопролитные сражения, и в город на Волге были эвакуированы многие правительственные учреждения, заводы, проектные институты. В Куйбышеве мы встретили наших московских соседей по двору и даже по нашей коммунальной квартире. Они нам рассказали, что их эвакуировали из Москвы в метропоездах, срочно переставленных на обычные железнодорожные платформы... Сейчас, когда я еду в метро, мне иногда вспоминаются эти рассказы, и я пытаюсь представить себе перипетии подобного «путешествия»...

В Куйбышеве оказались многие писатели, музыканты, деятели культуры; туда был эвакуирован из Москвы коллектив Большого театра. Студенты индустриального института стояли в очередях за билетами на спектакли Большого театра для себя и заодно брали билеты для своих преподавателей. Так наша семья получила возможность увидеть некоторые постановки, а я побывала с бабушкой на балетах «Лебединое озеро» и «Дон-Кихот».

Помню, как поразило меня своей грандиозностью и великолепием само здание Куйбышевского театра оперы и балета, стоящее на одной из самых больших площадей города. До той поры я не бывала на музыкальных спектаклях, хотя музыку очень любила и перед войной уже начала заниматься на фортепиано. Поэтому нечего и говорить, что прекрасная музыка, исполненная большим оркестром, привела меня в состояние какого-то счастливого столбняка, а тут ещё перед глазами разворачивалось некое волшебное действо... Сказка о прекрасных заколдованных лебедях волнует меня до сих пор... А в балете «Дон Кихот» моё воображение поразили маленькие танцовщицы, изображавшие амуров: девочки - чуть побольше меня – и так танцуют! В административном здании индустриального института помещалась столовая, куда были «прикреплены» (терминология военных лет) работники Большого театра, поэтому я не раз видела, как по двору проходили запомнившиеся по спектаклям артистки: грациозная Лебедь - Марина Семёнова, улыбающаяся Ольга Лепешинская – очаровательная Китри из балета «Дон Кихот». С детской непосредственностью я спешила к ним подбежать и в очередной раз выразить свой восторг.

Но вот папе пришло предписание явиться к месту его постоянной работы – в Артиллерийскую академию, которая в это время уже была эвакуирована в город Самарканд, и летом 1942 года мы отправились в Среднюю Азию.

Средняя Азия. Самарканд

Билеты у нас были до Ташкента, где нам предстояло сделать пересадку на Самарканд. Нас было вместе с бабушкой пять человек, но плацкартных мест дали только четыре: наверное, нам с братишкой полагалось одно место на двоих. Поэтому в одном купе ехали мы с мамой и братом Сашей, а в другом – папа и бабушка. Я спала на верхней полке, Саша – на нижней, мама, кажется, вообще не ложилась: сидела всю ночь в ногах у Саши, а днем ходила отсыпаться на бабушкино место.

Я, как обычно, плохо переносила дорогу, тут же скисла, слегла; но ехали мы долго, не помню, сколько именно, так что, когда мы подъехали к казахстанским и среднеазиатским степям, я уже немного адаптировалась и с интересом выглядывала в окошко. Правда, пейзаж большей частью был однообразным: как ни посмотришь, всё желтые пески, покрытые редкой зеленой растительностью. Выглянешь ещё часа через два – опять всё то же самое. И вдруг однажды на закате: «Смотрите, смотрите, верблюды!» В косых лучах заходящего солнца мы увидели две кибитки, около которых женщины разводили огонь, а чуть поодаль стояли неподвижно два большущих верблюда...

Другое яркое впечатление, сохранившееся в памяти. Вдруг объявляют: «Станция Аральское море!» – «Выходите, – говорит папа, – Какая красота!» Я выхожу на платформу, залитую ослепительным солнечным светом, и вижу синее-синее, яркое-яркое и огромное, как небо, пространство в обрамлении сочной зелени. И далеко, почти на горизонте, белый корабль... Неужели больше нет Арала? Мне не верится, что это чудное море-озеро погубили неправильно спроектированные ирригационные сооружения. Я думаю, что усыхание Арала является следствием каких-то неведомых нам глубинных геологических процессов и носит периодический характер. Как-то случайно я услышала такую фразу: «Это было в XIV веке, когда Аральское море почти совершенно пересохло». Значит, такое случилось уже не раз, и я верю, что Арал возродится, как возрождается сейчас Каспийское море.

...В Ташкенте мы остановились у маминой сестры, эвакуировавшейся из Москвы в октябре 1941 года. Вместе с дочкой она жила у родственников своего мужа, которые были потомками одного из первых губернаторов Туркестана – Андрея Петровича Чайковского, между прочим, двоюродного брата композитора П. И. Чайковского. Андрей Петрович интересовался природой и этнографией Средней Азии, завоеванной Россией в конце XIX века, производил географические и геологические изыскания, изучал языки местных народов. Внуки А.П. Чайковского постоянно жили Ташкенте и пользовались большим уважением и авторитетом у местной интеллигенции.

Мы пробыли в Ташкенте два дня, пока наш папе оформлял по броне билеты «для дальнейшего следования к месту назначения». За это время мы прошли с бабушкой и мамой по улицам города, который, безусловно, выглядел очень оригинально по сравнению с Москвой: невысокие белые здания среди экзотической

растительности, журчащие вдоль улиц арыки... Но мне мало что запомнилось: я плохо переносила среднеазиатскую жару, так что всё мне казалось не в радость... Пришло время нам ехать дальше, а я опять заболела, но ничего другого не оставалось делать, как везти меня, больную, на вокзал. А там мне стало совсем плохо, так что проводник даже не хотел пускать меня в вагон: мало ли чем болен ребёнок! Я не прислушивалась к перепалке, поднявшейся на платформе, и в конце концов, с облегчением ощутила себя лежащей на нижней полке вагона. От Ташкента до Самарканда мы ехали один день; всё это время я пролежала, не поднимая головы, хотя все окружающие восхищались красотой дороги, пролегавшей по туркестанским оазисам, и приглашали меня разделить их восторг.

В Самарканд приехали поздно вечером. Поезд свистнул и укатил в неведомое далёко. Пассажиры сразу же куда-то рассосались, погасли огни на вокзале, и мы очутились одни на платформе среди мрака и таинственных шорохов среднеазиатской ночи, кстати сказать, весьма прохладной. Пока папа ходил к начальнику станции с просьбой устроить нас как-нибудь на ночлег, бабушка уже уложила нас с Сашей на чемоданы, и мы задремали, положив головы ей на колени. А мама пошла с чайником в первозданной кромешной тьме искать кипятка...

Утром папа уехал в город, чтобы доложить начальству о прибытии, а также чтобы найти транспорт для нас. А потом было путешествие по раскалённому от зноя городу в маленьком душном автобусе и обретение пристанища – двух комнат в низком одноэтажном доме на территории самаркандского Эвакогоспиталя. Это медицинское учреждение занимало целый квартал на улице Склянского, по видимому, названной в честь какого-то местного революционного деятеля. До войны здесь находился Узбекский государственный университет, располагавший множеством отдельно стоящих строений. Главный четырёхэтажный корпус был недостроен, но в связи с необходимостью расселить большое количество раненых и эвакуированных часть его помещений была приспособлена для жилья. Но всё это мы рассмотрели позже, а в тот день были рады прохладному помещению с низкими потолками, где мы и начали располагаться.

Оказалось, что у нас есть соседи: эвакуированная из Москвы семья: мать, бабушка и две девочки – двенадцати и трёх лет. У нас с ними была общая кухня-прихожая, где стояли ящики для топлива – угля и саксаула, кухонные столы и керосинки. Но в помещении летом никто не готовил: параллельно дому протекал полноводный арык, а вдоль него стояли мангалки – местные переносные очаги, которые изготавливали из обыкновенных вёдер, сохраняя при этом в качестве рудимента ручки, продетые в ушки ведра, что было очень удобно при транспортировке. Вот на этих мангалках и варили себе пищу жители нашего дома. Воду для питья из арыка брать не рекомендовалось, поэтому источником живительной влаги была слабо функционировавшая колонка водопровода в центре двора. Возле нее с утра выстраивалась очередь из жестяных вёдер, куда вода стекала тоненькой струйкой. Хозяйки готовили у арыка еду и в то же время строго следили за очередностью своей тары...

В Самарканде всё нам казалось интересным и необычным. Во дворе было полно народу: раненые различной степени тяжести, врачи и сестры в белых халатах, масса детей. Между детьми бегали разномастные собаки. Почти каждый вечер, а иногда и днём раненых развлекали концертами на открытой эстраде; кино крутили по частям: днём в закрытом помещении клуба, а вечером прямо на улице. Мы, дети, любили сидеть за экраном и смотреть фильм как бы в зеркальном отображении. Никаких билетов, само собой, не требовалось.

А когда мы вышли на улицы города, то увидели узбеков в полосатых халатах, осликов, запряжённых в арбы, верблюдов... И женщин в паранджах: в те годы их носили очень многие; в Узбекистане, видимо, были ещё сильны патриархальные устои. В длинном одноэтажном здании, куда нас поселили, находились также канцелярия и приёмная Эвакогоспиталя, где родственники могли повидаться с выздоравливающими бойцами. Проходя по длинному коридору приёмной, мы видели женщин, закутанных в паранджи – матерей, жён, сестёр раненых бойцов из числа местного населения. Плотные чёрные сетки из конского волоса закрывали лица этих женщин, и когда из-за духоты какая-нибудь из них откидывала сетку, мы могли увидеть древнюю старуху или, наоборот, молоденькую красавицу с глазами-звёздами и чёрными бровями, нарисованными сурьмой от виска до виска.

Мы жили на окраине так называемого нового города, здания которого белели среди буйной зелени деревьев и кустарников. Какие скверы были в Самарканде, какие парки! А прямо за дувалом – невысоким глиняным забором, огораживавшим территорию госпиталя – начинался пустырь, и дальше была видна панорама старого города: великолепный архитектурный ансамбль Регистан со знаменитым медресе Улугбека, мавзолей Гур-Эмир – усыпальница Тимура (Тамерлана) и Тимуридов, купола мечетей, сказочно красивых, но давно уже не используемых в качестве культовых сооружений. Больше того, вследствие перенаселённости города в медресе, например, разместили эвакуированных, и в кельях старинного мусульманского духовного училища жили люди из Харькова, Минска, Одессы; по галереям бегали дети, на верёвках сушилось бельё.

Позже, освоившись на новом месте, мы с папой бывали в старом городе, проходили узкими пустынными улицами вдоль сплошных дувалов и глинобитных стен домов без оконных проёмов: по местной традиции окна выходят только во внутренние дворики. Изредка навстречу попадалась фигура, закутанная в паранджу, или местный житель, испытующе разглядывавший нас. Бывало, что прохожий в полосатом халате и чалме по обычаю своего народа приветствовал чужестранцев: «Салям алейкум!» – «Алейкум салям!» – тут же охотно отвечал ему папа. Ему, человеку, вообще говоря, восточного происхождения, вся эта среднеазиатская специфика очень импонировала. Даже узбекская музыка, которая звучала из радиоточки, папе нравилась: он находил в ней сходство с известными ему синагогальными напевами.

В старый город мы ходили мыться в бани, куда нам в строгой очерёдности выдавали талоны и по маленькому кусочку мыла на каждого. Навещали мы также одного папиного знакомого, проживавшего возле мавзолея XIV века под названи-

ем «Рухабад» – «Обитель духа». Раза два мне разрешили зайти внутрь этого обширного здания с куполообразным верхом, под которым слышался какой-то неясный шум; на полу были уложены плиты с надписями, сделанными арабской вязью... Позже я узнала, что это были захоронения шейха Бурхан-эд-Дина и его потомков.

Мама и папа побывали в мавзолее Тамерлана, и смотритель, старый узбек, рассказал им, что перед войной могилу могучего воителя вскрывали: тогда началась полоса реконструкций внешнего облика государственных деятелей по черепу. Эту работу возглавлял известный советский историк, антрополог и скульптор М.М. Герасимов. Старики предупреждали тогда, что нельзя тревожить прах Тимура: обязательно начнётся война! Но их, разумеется, не послушали...

Вместе с папой я попала однажды в краеведческий музей, наверное, очень неплохой. Мне запомнились красочные картины быта и интерьеры жилищ узбекского народа, причём были представлены хорошо выполненные восковые куклы в национальных костюмах: мужчины, женщины, девочки со множеством косичек.

...Почти круглый год над Самаркандом синело безоблачное небо, над городом нависали сиреневые горы – папа говорил, что это отроги Тянь-Шаня, и попутно рассказывал нам историю жизни знаменитого путешественника Семёнова-Тян-Шанского. Красота окружающей природы плюс причудливая ориентальная архитектура неожиданно подвигли нашего папу на занятия живописью. Произошло это при следующих обстоятельствах.

В Самарканд, глубокий и безопасный тыл, было эвакуировано огромное количество учебных заведений, в том числе военных. Попробую припомнить: академии Артиллерийская, Химическая, Военно-морская, Ветеринарная, Военно-медицинская из Ленинграда, оттуда же Институт киноинженеров (ЛИКИ), где папа преподавал по совместительству. Наверное, я ещё не всё вспомнила. Профессора всех этих учебных заведений были расселены, по возможности, в удобных для проживания помещениях, а таковыми считались дома на территории Эвакогоспиталя.

В результате у моих родителей появились новые знакомые: профессора-медики Воячек и Шацкий, преподаватели Химической академии Соболев, Берёзкин и другие... Фёдор Фёдорович Берёзкин был милейшим, добрейшим человеком, и дружба с ним и его женой продолжалась у нас даже после возвращения из эвакуации. Он был, кроме того, ещё художником и по воскресеньям отправлялся с мольбертом на этюды. Однажды папа увидел, что Берёзкин, стоя у дувала, рисовал с натуры вид на старый город. Папе очень понравился его рисунок, и ему тоже захотелось нарисовать этот вид. Он попросил у Фёдора Фёдоровича его эскиз, взял карандаши, бумагу и, сверяясь с рисунком Берёзкина, несколько дней старательно рисовал медресе, купола мечетей и минареты. Кстати, получилось очень неплохо, и я жалею, что этот рисунок утратился во время наших переездов. А папа так воодушевился, что затем перерисовал для нас с Сашей из журнала «Крокодил» игру «Блиц-Криг» — по типу «Выше-ниже» или «С утра до вечера». На игровом поле там были изображены в карикатурном виде солдаты немецкого рейха и стран-

сателлитов, а тематика была обычная для того времени: «Мы фашистов злую свору били, бьём и будем бить».

...Небольшой экскурс в область наглядной агитации времён Великой Отечественной войны... Роль этого «идейного оружия» трудно переоценить. Плакаты, лозунги, яркие рисунки со стихами и частушками, что называется, «били не в бровь, а в глаз», запоминались на лету. Особенную роль играл журнал «Крокодил» с юмористическими стихами Владимира Полякова, Дыховичного и Слободского, карикатурами Кукрыниксов, Бориса Ефимова и др. В память врезались рисунки, посвящённые разгрому немцев под Москвой: «На Москву: «Хох!» – От Москвы: «Ох!!» После завершения разгрома немцев под Сталинградом на обложке журнала появилось изображение Гитлера в сарафане с платочком на голове, сопровождаемое надписью: «Потеряла я колечко!.. А в колечке 22 дивизии!» Вообще Гитлер, Геринг Геббельс и другие фашистские главари, а также их союзники представляли перед нами исключительно в карикатурном и очень смешном виде.

Ну, а уж наши советские бойцы, партизаны, труженики тыла, конечно, выглядели, как и следовало им быть, настоящими героями. По впечатлениям первых военных лет знаю, что Василий Тёркин как герой наглядной агитации возник задолго до знаменитой поэмы Твардовского. У нас дома был плакат-складень, где были изображены и описаны в стихах военные приключения бойца. До сих пор помнится начало этого шедевра: «Это кто в гвардейском шлеме, /в полной форме боевой? /– Это он, любимый всеми /Вася Тёркин, наш герой».

Братишка Саша очень любил этот плакат, у меня даже такое впечатление, что по крупным красивым его надписям он учился читать: кубиков, азбук и других наглядных пособий в то время не было, тем более у нас, эвакуированных. Не было не только книжек с красивыми картинками и игрушек, но и многого из необходимых вещей. А самое главное, мы, дети умеренных широт, очутились в совершенно непривычных условиях, при экстремальной летней жаре, поэтому первое лето в Средней Азии было для нас с братом очень тяжёлым. Вскоре после приезда мы оба заболели корью, осложнённой воспалением лёгких. Потом я поправилась, а у Саши развился гнойный отит – воспаление среднего уха. Пенициллина в то время ещё не было, и единственный выход врачи видели в срочной трепанации черепа... Родители были в ужасе, но братишку по просьбе папы осмотрел профессор Воячек, как выяснилось, светило отечественной хирургии. Он подтвердил необходимость операционного вмешательства и взялся собственноручно его осуществить.

Сашу положили в Республиканскую больницу, причём Воячек обещал маме, что она будет находиться с сыном и даже сможет присутствовать на операции. Во время анестезии она стояла возле операционного стола, а затем вошедший в маске и перчатках хирург сказал белой, как полотно, маме, что муж просит её на минутку выйти в коридор. Мама вышла, а дверь за ней закрылась на ключ. После прошедшей вполне благополучно операции Воячек, невысокий, сухощавый старичок, по-видимому, чех по национальности, целуя заплаканной маме ручку, сказал, что опасался её обморока, что даже он сам не смог бы наблюдать, как оперируют его ребёнка.

Потом мама и Саша долго еще пробыли в больнице, которая располагалась где-то далеко за городом. Помню, что мы с папой ходили к ним туда пешком через какие-то окраины, кишлаки и приносили им угощение: маленькие, но очень сладкие «чарджуйские» дыни. Больничное здание было старинным, капитальным, с высокими потолками. Вокруг был чудесный парк, где нас встречали мама с братишкой, который уже начал поправляться. Саша, с обмотанной бинтами головой, очень похудевший, всё жался к маме, и мне его было безумно жалко. Я без ужаса даже представить себе не могла, что он перенёс, и сейчас терпит такие болезненные перевязки...

Наступила осень 1942 года. Мы уже немного адаптировались к местным условиям, но наш быт оставался в достаточной мере сложным, а рацион питания скудным. Конечно, в Самарканде большую часть года было тепло и сухо, да к тому же не так голодно, как в других местах: край этот таков, что, как говорится, «посади палку – вырастет дерево». Дети всегда могли найти, что пожевать. Вот хотя бы тутовник: вдоль улиц росли огромные (или так казалось?) деревья, на которых поспевали чудные крупные белые ягоды, напоминавшие по вкусу ананас. Ягоды сваливались с деревьев прямо в пыль, детвора их охотно подбирала и отправляла в рот. Перманентные желудочные заболевания никого не смущали.

Что же касается основных продуктов питания, то их выдавали по талонам – по карточкам – и в очень ограниченном количестве. Особенно дефицитным был хлеб – тяжёлый, тёмно-коричневый, по-видимому, ржаной с добавлением всего чего угодно. «Белый», а на самом деле какой-то грязно-серый хлеб выдавали только на Первое Мая и на Седьмое Ноября. На базаре, правда, продавались так называемые «узбекские лепёшки» – пресный восточный хлеб из пшеничной муки. Но эти лепёшки были дорогими, поэтому мы получали их не часто. Обычно бабушка дарила их нам с братишкой на праздники и на дни рождения, прилагая к каждой лепёшке леденец – петушка на палочке.

Рабочую карточку получал один папа, мама – служащую, на бабушкину иждивенческую и наши детские карточки выдавали очень мало не только хлеба, но и других продуктов. Мы с Сашей больше всего страдали от отсутствия сладкого. Сахар, порцию которого мама пробовала нам выдавать на день, мы тут же съедали... Вообще есть постоянно хотелось, и у меня в то время возникла привычка жевать всё что попало: деревянные ручки-вставочки, которыми я писала, всякие бумажки... Как-то я по обыкновению таскала в рот из кармана обрывки какой-то бумажки, а потом, приглядевшись, с ужасом увидела, что это хлебная карточка: она каким-то образом оторвалась от общей связки, когда я стояла в очереди за хлебом. Так я «съела» часть талонов на папин хлебный паек...

Но, конечно, родители старались, чтобы мы с Сашей получали какой-то необходимый минимум продуктов, к тому же такая искусница, как бабушка, умела скрасить однообразную и невкусную «казённую» пищу, которую мы временами получали в столовой для научных работников, и представить серую, отвратительную на вид мучную затируху как «суп-претоньер», а варево из сахарной свёклы у нее получалось исключительно вкусным и даже напоминало довоенный украин-

ский борщ. Сахарная свёкла была основным продуктом питания в Самарканде зимой 1942-43 года. Её посадили на пробу, а она неожиданно дала изобильный урожай, поэтому нам выдавали этот «бурак» на все продуктовые талоны. Уж мы её и пекли, и отваривали, а папа приспособился даже варить из неё повидло по собственному рецепту. Крупные белесоватые плоды резались на маленькие кусочки, добавлялось немножко сахара, яблок, сухофруктов (их нам тоже выдавали – ведь Средняя же Азия!), после чего громадная кастрюля ставилась на электроплитку, и её содержимое варилось несколько часов. Папа сидел за своим столом и занимался далеко за полночь, а «повидлюка» – так называлось это варево – чавкала у него над ухом, и он время от времени помешивал ее специальной палочкой. К утру повидлюка была готова, и мама намазывала её нам на хлеб.

Был у нас и огород, но только мы сами его не обрабатывали: папа договорился с узбеком Рауфом, что он будет делать всё, что следует, но за это возьмет половину урожая себе. Рауф был на огородах сторожем и... не знаю даже, как это называлось... ну, в общем, он распределял воду – пускал её с помощью кетменя то на одни участки, то на другие: земледелие-то было поливным! Нам, европейцам, с этой системой хозяйствования было бы не справиться, да еще при такой адской жаре – до 80⁰С на солнце, а в тени около 40⁰С. Помню, мы ходили к Рауфу в гости; он жил прямо на огородах с женой и дочкой – очень милостивой девушкой, перешедшей в последний класс школы. Под большим раскидистым деревом была сделана глинобитная площадка, а на ней лежал ворох одеял и много подушек. Рядом дымился мангал, и жена Рауфа с золотыми зубами и насурмленными в одну линию бровями угощала нас урюком и виноградом.

С Рауфом у родителей, по-видимому, установились дружеские отношения, и он нас однажды здорово выручил. Во время войны при недостатке продуктов магазины непрерывно производили различные замены: талоны на мясо отоваривали яичным порошком, вместо молока выдавали какое-то непонятное суфле, на сахарные талоны – патоку и тому подобное. Однажды самаркандский магазин научных работников – «учёный магазин», говорил папа – выдал нам взамен месячной нормы мяса живого барана, да притом ещё на две семьи: нам и еще одному преподавателю Артиллерийской академии – профессору Безухову с женой и детьми. И вот у меня в глазах такая картина: растерянные папа и его коллега ведут довольно-таки облезлого барана... к нам домой, так как оставить барана на улице было нельзя – его бы тут же украли; отвести животное к Безуховым было совершенно невозможно: они квартировали в учебном корпусе Артиллерийской академии, в лаборантской при какой-то кафедре. Мы-то, по крайней мере, жили в нормальном доме – вот барана и поселили на кухне в нашей квартире. Во что он превратил это помещение – можете себе представить. Пасти его было, естественно, некому, да и где бы это можно было сделать? Зарезать?! На это никто из участников события не был способен... Так что через несколько дней, когда наше терпение окончательно лопнуло, мама попросила Рауфа пойти с ней на базар и продать барана, заметно отощавшего, со спавшим курдюком. Сама она, конечно, не смогла бы этого сделать – не знала местных порядков торговли живым товаром, да и по-узбекски

выучила только два слова: «ничпуль» – «сколько стоит» – и «бильмай» – «не понимаю».

...После возвращения домой из Средней Азии мы долго вспоминали также землетрясения, свидетелями которых были в Самарканде много раз. На наше счастье, эти грозные явления природы проявлялись в те годы не слишком сильными толчками, наверное, не больше, чем в три-четыре балла. Было совсем не страшно и даже как-то забавно: сидим мы все за ужином, и вдруг стол начинает качаться, вроде бы даже топтаться на месте всеми своими четырьмя ногами, а электрическая лампа над нами в это время раскачивается подобно маятнику. Однажды вечером «тряхнуло» посильнее, а утром, когда мы вышли на улицу, то увидели, что стена соседнего дома обвалилась, и жилая комната оказалась как бы на сцене: стояли стулья, кровати, на них сидели растерянные люди... Потом жильцы устроили импровизированный занавес: отгородились от улицы какими-то тряпками, одеялами и продолжали жить как ни в чём не бывало.

Климат Средней Азии поощрял подобную беспечность. Действительно, лето там длится, кажется, с апреля и до октября, слякоть и непогода – какие-нибудь два месяца, а всё остальное время – весна и погожая осень. Летом мы бегали босиком или в самодельных тапках, которые привязывали к ногам верёвками, а осенью и бесснежной мягкой зимой ходили в галошах, которые надевали на шерстяные носки. Когда я вспоминаю самаркандский период своего детства, мне кажется, что я побывала в сказке из «Тысячи и одной ночи», и мне хочется закончить эту часть моих воспоминаний одной врезавшейся в память картиной.

...Я бегу с кошёлкой домой вдоль Абрамовского бульвара – прекрасного сквера, достопримечательности города Самарканда. Вот уже видна дорога из старого города в новый, как вдруг я слышу звон колокольчиков и замираю, поражённая. Неспешно, мерными шагами идут друг за другом верблюды, впереди узбек на ослике – караван вступает в город, так же, как это происходило и 100, и 1000 лет назад. Верблюды подходят к арыку, журчащему под сенью карагачей, становятся вдоль него. Гортанная команда – и все они разом опускаются на землю... Я с восхищением наблюдаю эту картину и одновременно щупаю босой ступней булыжники, покрывающие небольшую площадь возле ограды Эвакогоспиталя. Жара стоит страшная, камни раскалены, обжигают ноги, и я никак не могу решиться перебежать небольшое пространство от одной полоски тени до другой...

Самаркандский горячий полдень – мой любимый, так часто повторявшийся в жизни сон, которому не суждено было стать явью.

Наш хор. Игры. Лиля

Самарканд я вспоминаю с такой теплотой не только потому, что там было так все интересно и экзотично. Город этот останется самым светлым воспоминанием моего детства потому, что я там встретила замечательных подружек. Одна из них жила в нашей квартире.

У наших соседей было две девочки. Трехлетняя Танюшка ходила в «очаг» (так тогда называли детский сад), а вот Лия... Она мне очень понравилась: приветливая такая девочка с косичками до плеч, а на концах косичек волосы завиваются тугим штопором. Я её сразу стала называть Лилия – так звали девочку из моей любимой книги «Детство Никиты» – и она не возражала. Самое удивительное, что Лилия сразу же вполне искренне подарила меня своей дружбой, хотя ей было двенадцать лет, а мне только девять; видимо, в тот период не было во дворе подходящих ей по возрасту и по интересам подружек...

Мы с Лилей сразу же принялись обмениваться книжками, которые хоть и в небольшом количестве, но имелись в каждом из наших семейств, а потом, сидя на угольных ящиках в нашей общей кухне, долго говорили и о прочитанном, и так, вообще, «за жизнь». А ещё мы пели песни: Лилия, как оказалось, ходила в детский хор при Доме Красной армии (ДКА).

Мы приехали в Самарканд летом, кружки в этот период не работали. Но в начале сентября занятия хора возобновились, и, разумеется, я начала их посещать вместе с Лилей. Мама против хорового пения не возражала, но почему-то не разрешала мне принимать участие в выступлениях. Я сейчас вполне могу понять её позицию: в городе, переполненном приезжим народом, обстановка была весьма, как бы теперь сказали, криминогенной. Но тогда, осенью 1942 года, я оказалась между двух огней: мама выступать не разрешала, а руководитель хора Игнатий Семёнович Миловицкий говорил: «Не хочешь выступать – не ходи на занятия». И вот я, кажется, впервые в жизни проявила непослушание: ходила и на хор, и на выступления, несмотря на неприятности дома. Мама в конце концов с этим примирилась, особенно после того, как побывала на одном из наших концертов.

А хор у нас был, действительно, замечательный. Пели в нём только одни девочки от семи и до восемнадцати лет. Некоторые наши солистки имели хорошие, уже вполне установившиеся голоса. Когда высокая круглолицая Лия Селезнева своим сильным сопрано запевала в бодром темпе: «Нам ли стоять на месте – в своих дерзаниях всегда мы правы!» – мне хотелось спрыгнуть со сцены и с энтузиазмом маршировать навстречу свершениям. Другой выдающейся солисткой хора была Лида Абдуллаева, девушка лет шестнадцати. У неё было прекрасное контральто, и она хорошо играла на фортепиано. Иногда обе девочки пели дуэтом: «Эх, да на просторе, эх, да на просторе, /на просторе, да на краю родной земли, /эх, да в Чёрном море, эх, да в Чёрном море, /в Чёрном море ходят наши корабли». - И так далее, про милого, который на подлодке... У Лиды Абдуллаевой были потрясающие бархатные низы, но Игнатий Семёнович её не жаловал за постоянное непослушание, дерзости и даже баловство, а потому он её немного «зажимал».

Наш хор по статусу был детским, поэтому в его репертуар входили пионерские и школьные песни, и некоторые из них сочинял для нас Игнатий Семёнович. Помню замечательную песню, где солировала моя Лилия. На выступлениях хора она выходила вперёд и запевала звонким мальчишеским альтом: «Ветка в белом инее к окнам так и льнёт, /у крыльца родимого конь копытом бьёт. /Едет брат мой

в армию, едет он зимой, /брат, поехать в конницу мне позволь с тобой!» А мы дружно подхватывали: «С тобой, с тобой! Эх, мне позволь с тобой! /Брат, поехать в конницу мне позволь с тобой!».

Кроме взрослых девочек, в хоре было много младших школьниц, вроде меня. Мы все стояли в первом ряду и старательно открывали рты. А самой нашей маленькой солисткой была девочка лет пяти-шести, которая исполняла очень милую песенку «Дремота и Зевота» на слова Маршака: «Бродили по дороге Дремота и Зевота, /Дремота забегала в калитки и ворота...» Ну, и так далее. В конце песенки были такие слова: «А если кто не ляжет тотчас же на кровать, /тому она прикажет зевать, зева-а-ть, зева-а-а-ть!» – Тут малышка начинала забавно потягиваться и притворно зевать, чем вызывала восторг публики.

Сейчас песни, о которых я пишу, совершенно забыты, что, конечно, очень жаль само по себе, но хотелось бы вспомнить о той роли, которую они играли в первые годы войны. Потребность народа в массовой песне как на фронте, так и в тылу была очень велика, и она восполнялась самодеятельными композиторами. Постоянно появлялись какие-то новые песни, они тут же подхватывались всеми и начинали звучать повсюду... Так рождался фольклор... До сих пор можно услышать «Огонёк», «Чёрные ресницы, чёрные глаза», «Спит деревушка». Авторы этих, как бы теперь сказали, шлягеров неизвестны, либо спорны... В последующие военные годы профессиональные композиторы: Фрадкин, Новиков, Блантер и другие – написали прекрасные песни, которые исполнялись по радио, культивировались многочисленными хорами и ансамблями, и постепенно эти произведения вытеснили самодеятельные песни начала войны.

Наш хор исполнял многое из того, что теперь забыто, и песни тех лет дороги мне не только как память детства, но и как проявление лучших сторон душевного склада нашего народа. Прекрасны были и мелодии этих песен, и тексты, исполненные боли и народного гнева... Так очень мы любили и часто пели даже дома «Партизанскую»: «Налетел на хату враг проклятый, /сытых коней он вывел на лужок, /подпалил мой дом и вместе с хатой /ребятишек и жену поджѐг. /От семьи на память мне остались /лишь моя двустволка да топор. /Я возьму их и пойду с друзьями/ в партизанский лагерь, в тёмный бор»... Мотив у песни суровый, скорбный. Вот я сейчас её вспомнила, и, как в детстве, у меня слёзы навернулись на глаза... До сих пор известна песня «До свиданья, города и хаты, нас дорога дальняя зовѐт», но сейчас её поют на музыку Блантера. Несмотря на мою любовь к этому композитору, я должна признать, что предложенная им жизнерадостная мелодия не подходит к тексту, полному суровости и горечи от расставания с родными и близкими. Мы пели эту песню на другую мелодию, напоминавшую по стилю «Священную войну» Александрова.

Мы репетировали с хором регулярно, два раза в неделю, и почти каждую неделю выступали, большей частью, в госпиталях, которых в Самарканде было очень много. Небольшие эстрадные площадки (мы их называли «сценами») были

оборудованы прямо на открытом воздухе. Хор выстраивался на сцене, а наши слушатели, в основном раненые и медперсонал, усаживались на скамейках. Посмотришь со сцены – всё бело: халаты медсестёр и врачей, бинты и повязки раненых. Когда концерт заканчивался, наши солистки шли по палатам и там пели желораненым бойцам. Кроме открытых площадок, было много выступлений в клубах и в различных учреждениях. Отчетные концерты хора проводились в главном здании Дома Красной армии, где был большой красивый зал.

Нередко наш хор участвовал также в сборных концертах вместе с другими детьми и даже взрослыми артистами, так что после выступления мы пополняли собой слушательскую аудиторию и продолжали впитывать музыкальные впечатления. Особенно часто с нами в одном концерте выступали ученики самаркандской музыкальной школы, которая благодаря притоку эвакуированных педагогов и талантливых детей очень в те годы усилилась. Так вот однажды на эстраду вышли два черноглазых мальчика со скрипками, в одном из которых я с удивлением узнала своего одноклассника, и исполнили концерт Вивальди для двух скрипок. Наверное, они очень хорошо играли, я это чувствовала сердцем, а еще видела по их лицам, таким одухотворённым, прекрасным. Я забыла фамилии этих мальчиков, хотя потом ещё не раз слышала их в концертах. Быть может, они стали известными скрипачами... Наверное, именно тогда я была очарована скрипкой, и пронесла свою любовь к этому инструменту через годы... Прошло много лет... И вот снова звучит двойной концерт Вивальди, на этот раз в Малом зале Московской консерватории. А исполняют его две девочки в сопровождении школьного оркестра. И одна из этих девочек – моя дочь...

...Репетиции и выступления нашего хора назначались обычно на дневное время, а если они проходили вечером, то кончались не поздно: в Самарканде, мне помнится, как-то рано и внезапно темнело, стоило солнцу спрятаться за горы. Поэтому нас стремились отпустить домой пораньше, и как весело было идти по улице после концерта, «допевая» только что исполненные песни. А самое приятное для меня состояло в том, что мы с Лилей шли вместе до самого дома и потом, облокотившись на угольные ящики, долго еще делились впечатлениями, пока родители не отправляли нас спать.

Дома мы тоже часто пели: и кое-что из репертуара нашего хора, и разные другие песни. Братишка Саша охотно нам подпевал, и мы его даже иногда «выбирали» запевалой, так как у него был отличный слух и очень приятный голос. Особенно ему удавались песни «Раскинулось море широко» – из репертуара Утёсова – и «Любимый город» – из кинофильма «Истребители».

Еще одно незабываемое музыкальное впечатление военных лет: в 1943 году был принят новый Гимн Советского Союза. Недавно я услышала, что в конкурсе на это произведение принимали участие 40 поэтов и 160 композиторов, в том числе Шостакович, Хачатурян, Дунаевский. Представленные на конкурс материалы рассматривал Сталин лично, и по его указанию был утверждён поэтический текст С. Михалкова и Эль-Регистана, а также музыка Александрова, известная прежде

как мелодия «Гимна партии большевиков». Я отлично помню, как у нас в госпитале выступал с этой песней какой-то женский вокальный ансамбль: девушки в синих шёлковых платьях до полу стояли, заложив руки за спину, и стройно пели: «Партия Ленина, партия Сталина, мудрая партия большевиков». Говорили, что Сталин выбрал именно этот вариант музыки потому, что хорошо знал «Гимн партии большевиков» – он исполнялся на съездах и пленумах. А кроме того, вождь очень уважал создателя музыки «Гимна» – руководителя Ансамбля Красной армии композитора Александра.

Мнение Сталина по всем вопросам жизни всегда принималось безоговорочно. В годы войны культ его личности утвердился окончательно, чему, конечно, способствовала и музыкальная культура тех лет, и, прежде всего, песенное творчество. Песни о Сталине звучали по радио непрерывно, внедряясь в сознание людей, создавая идеальный образ вождя народов. «О Сталине мудром, родном и любимом прекрасные песни слагает народ...» – «Сталин - наша слава боевая, Сталин – наша юность и полёт...» – «Смелыми Сталин гордится, смелого любит народ...» – «Один сокол – Ленин, другой сокол – Сталин», – пел народный хор, а детский вокальный ансамбль утверждал, что «любимый и ласковый Сталин улыбнётся приветливо нам...»

Что же касается музыки Гимна Советского Союза, то её, безусловно, следует признать исключительно удачной. Она пережила годы перестройки, когда гимн России исполнялся на музыку «Патриотической песни» Глинки, и вновь зазвучала в начале XXI века. Только слова были заново написаны Сергеем Михалковым – одним из авторов первоначального текста Гимна Советского Союза...

...В годы моего детства каждый наш день был до отказа заполнен учёбой, домашними обязанностями, самодеятельностью; но, как все дети, мы очень любили играть. Именно в Самарканде я научилась многим бытовавшим в то время детским играм, и я считаю, что это умение помогало мне и в воспитании детей, и в моей педагогической работе. В самом деле, что такое учебный процесс? Это ведь тоже своего рода «игра в науку», не зря, наверное, появился термин «деловая игра». И если знаешь законы этой «игры», успех на педагогическом поприще тебе обеспечен.

В Самарканде ареной наших игр была вся территория Эвакогоспиталя: целый квартал со множеством зданий различного назначения, закрытых «двориков», закоулков, где было так удобно прятаться, и в то же время с большими открытыми пространствами – бегай на здоровье! А «заводилой» в нашем дворе была опять-таки Лиля, которая знала массу игр и умела вовлечь в эти игры всех детей – от мала до велика. Ей это легко удавалось, потому что она хорошо умела прыгать, бегать, ловить и бросать мяч, и при этом нисколько не «воображала», как говорили мы в те годы, всегда была скромна и доброжелательна. Но когда мы в соответствии с требованиями какой-нибудь игры начинали распределяться на две команды, все хотели играть только с ней. Что же касается меня, то я на правах ближайшей

соседки сразу же бежала к Лиле и первой становилась рядом с ней. Это было моё бесспорное право, и оно никем не обсуждалось.

Попытаюсь вспомнить хотя бы некоторые игры, которыми мы увлекались в детстве. Больше всего мы любили прыгать через верёвку, которую крутили, взявшись за её концы, две девочки. Упражнения были самые разнообразные, но особенно нам нравились «Зеваки»: это когда двое крутят, а все остальные, выстроившись линейкой, бегут друг за другом и прыгают по одному разу, а если заденешь веревку или пропустишь такт – вылетаешь. Чем больше народу вылетает, тем труднее прыгать оставшимся: надо успеть прыгнуть, обежать тех, кто крутит верёвку, снова пристроиться в конец линейки и опять прыгнуть один раз в свою очередь. Так что рано или поздно все оказывались «зеваками», и наступала очередь «выручалы», которая должна была прыгать «Пожар»: две девочки крутили с большой скоростью, а «выручала» быстро-быстро подскакивала на небольшую высоту, не задевая при этом верёвку... Это было сложное искусство, которым владели немногие...

Весна незаметно перетекала в лето. В Самарканде это ознаменовывалось увеличением дневной температуры воздуха, и прыгалки убирались до следующей весны. Никому даже в голову не пришло бы прыгать летом. А вот игры с мячом были вне сезонов и отличались очень большим разнообразием. Любимейшей игрой были «Прожигалы»: одна команда выбивает с поля другую, перебрасывая мяч с одного края начерченного на земле прямоугольника на противоположный. Эта игра, каноническое название которой «Круговая лапта», оказалась очень долговечной, и я до сих пор наблюдаю, как иным родителям удаётся заинтересовать ею своих детей, и те нехотя, лениво трусят с одного конца поля на другой. И как же это не похоже на наши азартные «Прожигалы» с неизбежными спорами и ритуальными выкриками!

Следующей по популярности в нашем дворе была игра с загадочным названием «Штандер». Известна она была ещё до войны, но интерес к ней не угасал даже и в послевоенный период. В этой игре каждый был за себя. Вначале все собирались в кружок, кто-нибудь, подбрасывая мяч высоко вверх, выкрикивал имя одного из играющих, например: «Коля!» – и все разбегались. Поймав мяч, Коля громко кричал: «Штандер!» – и тут все должны были замереть... Мне кажется, название это происходит от немецкого *Ständer* – стойка, столб: дескать, стой неподвижно, как столб... Дальше действие развивалось так: водящий, условно названный нами Колей, бросал мяч в того из игроков, который оказывался поближе, и если попадал, положим, в Лену, то уже она, схватив мяч, кричала: «Штандер!» – и пыталась поразить мячом кого-нибудь из игроков. Так и бегали все друг за другом с мячом. Если же Коля ухитрялся сразу поймать мяч с воздуха, то он мог тут же его подбросить вверх и выкрикнуть имя кого-нибудь из убегающих, например: «Витя!» – А Витя, глядишь, уже на другой конец двора убежал... Вот смеху-то

было!.. Возможно, существовали и другие варианты этой игры, были и свои тонкости, но смысл оставался тот же самый: «Остановись! Замри!»

Очень любили мы также игру с мячом, которая почему-то называлась «Американкой». Все разделялись на две команды и должны были перекидывать мяч через сетку, причем нужно было, чтобы мяч стучался об землю. Впоследствии, в шестидесятых-семидесятых годах прошлого XX века, когда росли мои дети, подобная игра называлась «пионерболом»... Сетки у нас, разумеется, не было, поэтому играть мы ходили в ту часть двора, где на веревках сушилось бельё раненых и бывшие в употреблении бинты. Обычно рано или поздно из дверей расположенной неподалёку прачечной выходила распаренная санитарка и начинала кричать, что мы запачкаем чистое бельё, а это в свою очередь служило толчком к дискуссии о качестве стирки: назвать чистыми эти серые тряпки в подтёках можно было только весьма условно... Но убираться всё-таки приходилось, и мы продолжали игру, ориентируясь на проведенную на земле черту.

Очень любили мы игру «Тише едешь – дальше будешь», в которой принимали участие все дети без различия пола и возраста. Водящий в игре отворачивался к стенке и выкрикивал эту известную поговорку, а все остальные перемещались по направлению к нему из-за проведённой в конце двора черты. Но когда водящий поворачивался к играющим лицом, все замирали, а если кто-нибудь пошевелился – уходи назад за черту. Постепенно ребята всё ближе подходили к водящему, и когда все оказывались у него за спиной, кто-нибудь «салил» его. Тогда все с визгом разбегались, а водящий стремился кого-нибудь поймать; если это не удавалось, то ему снова приходилось становиться к стенке и выкрикивать: «Тише едешь – дальше будешь! Раз, два, три!»

«У кого ключик?..» – замечательная игра, которую я помнила еще с довоенных лет. Все играющие рисовали себе круги на значительном расстоянии друг от друга и становились внутри этих кругов, а водящий подходил к кому-нибудь и спрашивал: «У кого ключик?» – «А вон, у того-то!» – И пока водящий шёл к тому-то, все попарно знаками (!) сговаривались и менялись кругами, а тот, кто водит, следил за этими перемещениями и стремился занять свободный круг.

Разрывные цепи... Все играющие разделялись на две команды и образовывали две противостоящие цепи. Один человек из каждой команды в строгой очередности с разбегу старался прорвать цепь «противников», и если это удавалось, то забирал одного человека из «супротивной» команды. Игра прекращалась, когда все играющие оказывались в одной цепи. Эта забава была силовой и даже небезопасной: когда на нас, маленьких, тараном мчался кто-нибудь из больших мальчишек, любивших эту игру, мы, бывало, с испугу заранее отпускали руки...

До сих пор люблю и играю с детьми в прямо-таки театрализованную игру: «Здравствуй, Дедушка седой, с длинной белой бородой, с длинными усами, с седыми волосами!» – А «Дедушка», поглаживая «усы», отвечает: «Здравствуйте, милые детки, где вы были, что вы делали?» – «Где мы были, мы не скажем, а что

делали, покажем!» – И тут следовало настоящее представление: дети показывали «Дедушке», как они, предположим, играли в мяч или писали в школе мелом на доске, а тот должен был угадать, чем занимались дети и в каком именно месте, после чего бросался ловить разбежавшихся игроков.

Я перечислила только некоторые из наших любимых игр: на самом деле их было гораздо больше: и подвижных, и сидячих, и хороводных... Я пишу о детских забавах потому, что всегда считала и считаю: игры, особенно подвижные, оказывают исключительно благотворное влияние на физическое и интеллектуальное развитие ребёнка, и ничто: ни спорт, ни, тем более, телевизор – не могут их заменить. Игры развивают сообразительность ребёнка, а также ловкость, быстроту, меткость без свойственной спорту перетренированности, однобокого развития какой-либо группы мышц, что часто вредит здоровью ребёнка. В игре всё присутствует в малых, гомеопатических дозах: и напряжение, и азарт, и соревновательность. Всё даётся по твоим силам: не можешь – не играй, но постепенно всё невозможное становится доступным. Знаю это по себе: из неловкой и зажатой девочки я превратилась в нормального среднего ребёнка с прекрасным мироощущением. Благодаря подвижным играм на воздухе мы с братом Сашей постепенно приспособились к среднеазиатскому климату и, практически, перестали болеть... Очень важно, по-моему, и то, что настоящего хулиганства у нас во дворе в то время было мало. Даже драки были не таким уж частым явлением, и происходили они где-то вне нашего детского, спянного совместными играми коллектива.

...Сейчас в наших новых городских кварталах оборудованы спортивные и специальные детские площадки, вблизи школ располагаются стадионы. Но вы там редко увидите играющих детей, разве тренируется какая-нибудь спортивная секция. Недавно, проходя по двору, я обратила внимание на то, чем занимаются дети. Была весна – время прыгать, играть в мяч и в классики, но ничего подобного я не увидела. Девочки – по две, по три – о чём-то шептались, сидя на лавочках. Мальчики кидали камни в дерево либо носились на велосипедах среди прохожих и на детской площадке, рискуя наехать на малышей. Только в конце квартала возле дома, куда переселили жителей не так давно снесённой деревни, я увидела, что дети бегают и прячутся: может быть, стремление играть ещё сохранилось в некоторых слоях населения...

...Другая сцена. «Пасу» своего внука на детской площадке, где есть всё: песочница, качели, карусель с наклонной осью, лесенки, детские домики. Но дети слоняются, пристают друг к другу. Бабки судачат, сидя на лавочках; мамы, в основном, курят и тоже болтают; одна интеллигентная дама в очках воткнулась в толстый журнал и никак не реагирует на то, что её маленькая дочка тербит маму за рукав и ноет: «Домой! Мультки смотреть!» Скука висит над детской площадкой: ну покопал ребёнок десять минут, ну покачался, ну на лестницу влез – всё же это быстро надоедает. Вот бы устроить соревнование: кто дальше прыгнет с качелей – но бабушки на скамейках не разрешают: «Убьёшься! Малыша ударишь!»

Некоторое время детей побольше занимает карусель: один ее конец образовал в земле яму, заполненную после дождя водой, поэтому при катании на этом снаряде все становятся мокрыми с головы до ног... Но тут одна из бабок раздражается отборной бранью и пытается увести своих внуков домой, а те не хотят – и тоже за словом в карман не лезут...

Решительно встаю: «Кто будет в «Тише едешь – дальше будешь?» – Общее молчание и недоумение. Но я не теряю «куража», и спустя некоторое время мне всё-таки удаётся организовать игру. Дети бегают, раскраснелись. Затем ещё играем: «Здравствуй, Дедушка седой!..» Я с внуком на руках изображаю «Дедушку», а какая-то малышка оказалась очень толковой и хорошо придумывает, что и как показать «Дедушке». Молодец, Настенька! Видно, не перевелись лидеры в народе. Только игра она никаких не знает: преемственности-то нет! Мама в очках удивляется: «Откуда Вы всё это взяли?» А одна из бабок, видимо, моя ровесница, вдруг вздыхает: «Да, играли по всем дням, бывало...»

Почему перестали играть дети? Можно привести много очевидных причин. Нет таких уютных, как в нашем детстве, дворов, объединявших всех соседей – и больших, и маленьких... Дети занимаются спортом, музыкой (но все ли?)... Телевидение подавляет творческие склонности детей, так необходимые в каждой игре, и, наоборот, культивирует грубость приемов карате, бокса и т.п., не учитывая того, что дети не знают правил этих спортивных игр и легко могут искалечить друг друга. Не хочу тут обсуждать компьютерные игры, все эти виртуальные «стрелялки» и «догонялки». Я горячая сторонница компьютеризации, однако совершенно убеждена в том, что детям, особенно младшего возраста, эти игры ничего, кроме вреда, не приносят.

Следует отметить также пассивность родителей: по крайней мере, уже два их поколения – воспитанники детских садов, а я ни разу не видела, чтобы воспитательницы играли во дворе с детьми... Стоят, болтают в сторонке, а дети занимаются сами по себе, пристают друг к другу, шалят... Изредка, лениво: «Дима! Вылезай! (Уйди! Не лезь! Не трогай Ваню и т.п.)». Это педагоги, что уж там говорить о рядовых мамах и папах.

И всё-таки это странно: ну как же так, играли-играли дети – и вдруг в одном-двух поколениях всё прекратилось... Может быть, детским играм приходит свой черёд умирать и возрождаться, и когда-нибудь мы ещё увидим весело играющих на воздухе счастливых мальчиков и девочек...

А теперь о детях, которых трудно назвать счастливыми... Великая Отечественная война, начавшаяся в 1941 году, была великим народным бедствием... Я все это время была с родителями и с бабушкой и не ощутила всей горечи сиротства, как многие мои сверстники, но во время наших переездов я видела на железнодорожных станциях оборванных ребятишек, которые подходили к поезду и просили дать им поесть. Быть может, это были дети транзитных пассажиров, сутками сидевших на чемоданах в ожидании отправки неведомо куда... Но конечно, в годы

войны очень многие ребята лишились родителей либо потерялись при массовых, часто беспорядочных перемещениях населения. И эти безнадзорные дети, особенно подростки, своим асоциальным поведением могли представлять известную опасность для общества. Однако, мне кажется, что беспризорники не были обыденным явлением тогдашней очень непростой жизни.

Прежде всего потому, что вопрос о занятости подростков, их профессиональном обучении был кардинально решён ещё до войны созданием так называемых «трудовых резервов». При заводах и фабриках открывались ремесленные училища и школы фабрично-заводского обучения, и ребята, окончившие четыре-пять классов, охотно туда поступали. Их обучали рабочим профессиям, и они затем пополняли ряды производственников. А когда началась война, они заменили ушедших на фронт рабочих.

На многих предприятиях во время войны работали также и ученики обычных школ. Вот одна известная мне история. В подмосковном городе Егорьевске был крупный станкостроительный завод, который с началом войны переориентировали на военную продукцию, но почти все работники этого предприятия были мобилизованы. Осенью 1942 года в школы города пришли представители завода; они обратились к ученикам старших классов с просьбой заменить ушедших на фронт отцов и братьев. Многие ребята откликнулись на этот призыв, и среди тех, кто пришёл работать на завод, был тринадцатилетний Борис Меньков... Мой будущий муж...

Борю направили в формовочное отделение литейного цеха, где производились заготовки для мин и другой военной продукции. Около пяти часов утра заводские гудки будили рабочих, так как ровно в шесть начиналась утренняя смена. Через весь город ребята шли на завод и приступали к работе. Они набивали специальные ящики – опоки – формовочной смесью и закладывали туда модели отливок, а затем утрамбовывали содержимое опоки штангами или пневматическими перфораторами; это была очень тяжёлая работа для тринадцатилетних, ослабленных недоеданием подростков. К тому же в цехе было очень холодно, так что, если была возможность, мальчишки бежали погреться около вагранки – печи, где плавился металл. Один раз за смену из заводской столовой ребятам приносили чёрный хлеб и по кружке молока... Только в конце 1943 года, когда на фронтах войны наметился перелом в пользу Красной Армии и специалистов стали возвращать на оборонные предприятия, ребят отпустили продолжать учёбу в школе...

Прошли годы; роль подростков, помогавших стране и фронту была по достоинству оценена: как и другие труженики тыла, они были награждены медалью «За героический труд в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг.». А на Урале сооружён монумент в память о самоотверженном труде подростков в лихую для нашей Родины годину.

...Сироты военного времени... Это была огромная беда и неиссякаемая боль страны. Кардинально решался этот вопрос путём создания детских домов, и

я думаю, что в учреждениях, где воспитывались осиротевшие дети, обстановка была благоприятной. Люди во время войны были исполнены сочувствия к своим воспитанникам, поэтому, надо полагать, они добросовестно относились к своим обязанностям: стремились, насколько это возможно, накормить, одеть и, что немаловажно, занять детей. В Самарканде самодеятельность детских домов была одной из лучших в городе. Помню также выставки художественного творчества детдомовцев: акварельные рисунки, вышивки, резьба по дереву... И сейчас ещё можно услышать по радио слова благодарности бывших детдомовцев в адрес воспитателей и директоров этих учреждений...

...Суворовские и нахимовские училища. Их открыли в последние годы войны, и в первую очередь туда брали мальчиков-сирот, отцы которых погибли на фронте. Направляли туда также воспитанников военных формирований, о которых мы знали из книги В. Катаева «Сын полка»; эти ребята были, как правило, круглыми сиротами. Учащиеся военизированных школ были окружены ореолом романтики: ещё бы, ведь это были будущие защитники Родины, резерв нашей славной армии, которой мы все так гордились в то время. О суворовцах и нахимовцах писали рассказы и целые повести. Картина Решетникова «Прибыл на каникулы» была весьма популярна, и она даже выставлялась в Третьяковской галерее...

...Ещё один аспект проблемы сиротства, который получил эффективное решение в годы войны. В то время без лишней волокиты многие брали осиротевших детей в свои семьи. Особенно это было распространено в Узбекистане, и мы должны помнить, что народ этой республики не только радушно принял и обеспечил самым необходимым тысячи эвакуированных, не только создал на своей земле массу госпиталей, где лечились и реабилитировались раненые на фронтах войны бойцы, но и принял огромное число сирот в лоно своих и без того многочисленных семей. Хочется вспомнить в связи с этим стихотворение белорусской поэтессы Эди Огницвет, напечатанное в сборнике «Советские поэты – детям». Тогда, во время войны, издавались подобные подборки патриотических стихотворений на злободневные темы, а также пьесы для самодеятельного исполнения. Эти книжечки небольшого объёма, напечатанные на плохой серой бумаге, включали в себя стихотворения известных поэтов. Например, в сборнике, о котором я пишу, были стихотворения Ахматовой, Пастернака и др. Мы заучивали эти стихи и выступали с ними на школьных утренниках....

Итак, цитирую по памяти отрывки из стихотворения Эди Огницвет: «Мы в дом к себе девочку взяли, /её не отдам я назад!/ Её называю я Галя, /а Галя меня – Шарафат». Дальше шла речь о том, как девочки подружились и даже стали похожи друг на друга, как родные сёстры: «Похожи!» – соседи сказали. / «Похожи! – ребята кричат. / – Как две половинки граната /и Галя, и ты, Шарафат! /Но мы вас по косам узнали, /по косам, что вьются до пят: /коса золотая у Гали /и чёрная у Шарафат».

Да, так было. Я помню свою одноклассницу - узбечку Феню Джурабаеву, которая ходила в школу, ведя за руки двух белоголовых девочек. «Это мои сестрички, их мама умерла, и мы взяли их к нам домой», - объясняла Феня...

Ну, а как обстояли дела с криминальным элементом, с малолетними преступниками? Конечно, таких ребят было немало, и для них существовали колонии, где дисциплина была жёстче, чем в обычных детских домах. Быть может, даже были живы в какой-то мере традиции великого педагога А.Макаренко в организации подобных заведений... Мне не пришлось, слава Богу, с этим столкнуться, я только знала понаслышке об одном из таких учреждений.

...Жила в Самарканде недалеко от нас очень милая женщина-врач Ирина Анатольевна Григорян, она пользовала моих родителей по линии ведомственной академической поликлиники. Так вот, у неё был папочка (так она всегда о нем говорила), директор колонии для малолетних правонарушителей. В нашем семейном фольклоре этот человек фигурировал как «Ириныанатольевнин Папочка», и о нём обычно заходила речь, когда дело касалось моего братишки.

Саша рос спокойным ребенком; в общении с товарищами он был миролюбив и пассивен: драться не любил, к хулиганству склонен не был. Наверное, тут сказывалось мамино влияние, тёплая семейная обстановка, наша взаимная забота друг о друге... Но есть ли на свете мальчики, которые никогда не шалят? Или, по крайней мере, делают не то, что от них требуется? Саша тут не был исключением, и родителям приходилось его иногда наказывать или даже угрожать, что если он не прекратит... (не исправится... не начнет...), то... дальше следовали гипотетические формы наказаний, из которых самой неприятной для Саши была перспектива отправки в исправительное заведение к Ириныанатольевнину Папочке.

Родители, конечно, шутили, но маленький Саша, оказывается, воспринимал всё это вполне серьёзно. Когда мы собирались возвращаться в Москву, мама послала нас с ним отнести что-то Ирине Анатольевне, кажется, какую-то электроплитку. Зашли мы во двор, где жила Ирина Анатольевна, видим: вся семья сидит под тенистым деревом и чаёвничает. Саша спрашивает: «Надя, а Ириныанатольевнин Папочка тоже там сидит?» – «Да, – говорю. – Вон он чай в стакан наливает». – «Ну, тогда я не пойду!» – сказал Саша, и сколько я его ни уговаривала, так и не пошёл, остался ждать меня у ворот, пока я выполняла мамино поручение и прощалась со всеми, в том числе и с Папочкой, ни о чём не подозревавшим интеллигентным старичком.

Учёба в Самарканде. Клавденька

В Самарканде я начала по-настоящему учиться, почувствовала вкус к планомерному приобретению знаний, приобщилась к познанию радостей и огорчений школьной жизни. Хотя огорчений поначалу было немало...

Осенью 1942 года я отправилась в ближайшую к дому школу №45 – невысокое, окрашенное в белый цвет здание, укрытое густой зеленью деревьев. Помню, в первый день мы с голоса учительницы разучивали всем классом стихотворение Маршака «Первое сентября, первое сентября!.. Первый день календаря...» Но я уже давно знала это произведение, так что затруднений с его запоминанием у меня не возникло. После первого сентября мы проучились еще дня три, а потом нам сказали, что школу надо освободить под госпиталь...

Война шла своим чередом, санитарные поезда везли и везли раненых, и самыми подходящими помещениями для них были школы. В больших классах можно было разместить много народу, что было удобно медперсоналу: раненые помогали друг другу, следили за состоянием особенно тяжёлых, немедленно сообщали об ухудшении сестре или врачу... Не так давно я слышала от одного строителя, что в настоящее время проектируются и строятся не просто школы, а школы-госпитали, готовые немедленно принять раненых в случае войны. Даже водопровод подведён к каждому классу-палате, даже помещения для операционных соответствующим образом подготовлены и законсервированы...

Итак, нам велели взять парты и тащить их в выделенное нам для занятий помещение, и мы бесконечно долго тащили невероятно тяжелые старинные парты вдоль уже упомянутого мною Абрамовского бульвара. Каждая парта предназначалась для двух учеников и состояла из наклонного столика и скамьи, соединённых вместе. Протащив такую парту несколько шагов, мы садились на неё отдыхать, потом несли дальше... До сих пор, мне кажется, я помню эту тяжесть, и впоследствии, бывая в школе, где учились мои дети, всегда удивлялась, как удобна и легка современная школьная мебель, и притом столы и стулья совершенно отдельно – бери и носи, куда хочешь...

...Долго тащили мы тяжёлые дубовые парты, но, как оказалось, старались мы зря. Прозанимавшись в новом для нас помещении неделю, мы его покинули вместе с партами, а сами отправились в другое место... Рано или поздно мы очутились на другом конце города, где-то за оврагом, в школе № 42, двухэтажной, деревянной и очень ветхой. Разместить там госпиталь, видимо, не представлялось возможным, поэтому под крышей, давно требующей ремонта, нашло приют несколько бездомных школьных учреждений. Полы и лестницы в этом старинном здании невыносимо скрипели, с потолка что-то сыпалось, к тому же некоторые классные помещения были почему-то проходными, и как раз нашему второму классу в этом смысле «повезло»: при звонке на перемену распахивались двери смежного с нами четвёртого класса, из него, подобно урагану, вырывались какие-то подростки, хватали наши книжки, тетрадки, карандаши, подбрасывали их с громкими криками в воздух, а нас щёлкали по стриженным головам.

Занятия в школе шли в четыре смены. Урок продолжался тридцать минут, потом – пятиминутная перемена. У нас каждый день были только письмо, арифметика и чтение; рисование и чистописание тут же отменили. Наш класс учился именно в четвёртую смену, то есть уроки начинались часов в шесть или даже позже. По дороге в школу я пересекала железнодорожную линию, по которой ходила

«кукушка» – состав из паровоза и нескольких вагончиков; паровоз на ходу оглушительно свистел, но, тем не менее, под него то и дело ухитрялись попадать неосторожные пешеходы... А возвращаться домой приходилось в кромешной тьме, в овраге лаяли собаки (или шакалы?!); на выходе у дверей школы народ как-то рассеивался, и в мою сторону почему-то никто не шёл.

Я боялась идти одна, и поэтому папа меня некоторое время встречал, но потом ему надоело ходить на другой конец города после целого дня занятий в академии, да и в учении моём по сокращённой программе он не видел толку. Поэтому он вскоре перевёл меня в стабильно действующую, хотя тоже объединённую школу № 30-37. Находилась она в центре города, на Ленинской улице. Школа было одноэтажная, но вместительная: до революции там помещалась женская гимназия. Центральной частью здания был довольно большой зал с эстрадой, около которой стояло фортепиано. В зал выходили двери некоторых классов, остальные учебные помещения располагались вдоль двух длинных коридоров. В положенное время вдоль этих коридоров проходил сторож Андриан с колокольчиком в руках и дребезжанием этого нехитрого старинного устройства извещал о начале и конце уроков. И самым большим счастьем было выпросить у Андриана заветный колокольчик в конце перемены и звонить, наблюдая, как дети разбегаются по своим классам.

Я пришла в эту школу в третьей четверти, причём с существенным отставанием, особенно по арифметике. Но класс был дружный, ребята доброжелательные; помню, ко мне подходили какие-то мальчики и говорили: мол, ничего, что я не знаю таблицу умножения на семь и на девять, это совсем нетрудно выучить... Тогда же я срочно выписывала в маленькую самодельную ную тетрадку-словарик: «корова», «собака», «пальто» и т.п. Учительница Ида Григорьевна мне очень понравилась: молодая, красивая, а потому добрая и снисходительная женщина. Я потом много раз в жизни замечала, что настоящие красавицы чаще всего благорасположены к людям, которые оказывают им внимание. К тому же наша учительница была матерью двух очаровательных малышек, и на своих учеников она непрерывно изливала чисто материнские чувства. Ко мне она отнеслась с большой симпатией и вниманием, чем я была, вероятно, обязана папе, который привёл меня первый раз в класс и, несомненно, произвёл на Иду Григорьевну самое благоприятное впечатление.

Дальше моё учение пошло без каких-либо катаклизмов, и в конце года я даже стала отличницей. Помню, папа и мама пошли на заключительное родительское собрание, а я бегала во дворе и всё смотрела на проходную госпиталя, ждала, когда они появятся. Вижу, идут: мама издали мне приветливо улыбается, а папа держит в руках свернутую в трубочку похвальную грамоту, но делает вид, что ему это совершенно безразлично, даже смотрит куда-то в сторону... На самом деле он очень ревниво относился к успехам своих детей, и наши хорошие отметки давали пищу его благородному честолюбию. Наши с Сашей похвальные грамоты и медали он запрятывал куда-то в недра своего огромного письменного стола и, не исключено, иной раз пересматривал эти реликвии. К сожалению, полученные мною

в Самарканде грамоты потерялись, а они были очень интересные: слева похвалы были написаны по-русски, справа – по-узбекски, а изображённые на листе Ленин и Сталин удивительным образом напоминали собой представителей коренного населения Узбекистана.

...Летом между вторым и третьим классами меня отправили в пионерский лагерь от Артиллерийской академии, о чём я сама просила папу, так как большинство девочек, в том числе и Лиля, тоже уезжали за город. В окрестностях Самарканда было много живописных мест, и летом 1943 года там организовали пионерские лагеря и санатории, где полагалось «усиленное питание» – фактор исключительно важный в те голодные годы.

Отправляли нас почему-то под вечер, когда расставаться с близкими особенно трудно. Рассадили всех по автобусам; я оказалась у окошка и с интересом наблюдала дорогу, благо ехать было не так далеко. По приезде в лагерь началась обычная в таких случаях неразбериха: кто-то потерял вещи, кто-то не смог сориентироваться и найти свой отряд... Но постепенно всё как-то уладилось. Детей рассадили за длинными столами прямо под открытым небом, накормили ужином и повели устраиваться на ночлег. Девочкам с первого по шестой отряд отвели большую открытую веранду под навесом. Вообще закрытых помещений в этом лагере почти не было, что и понятно: жарким самаркандским летом в домах очень душно. Помню, что летом все дворы в Самарканде были заставлены кроватями: с наступлением ночи из домов выносились постели, обязательно ватные одеяла, и все укладывались спать на воздухе. Это было очень весело нам, ребятишкам: мы перекликались, перебрасывались подушками, хохотали до тех пор, пока родителям не удавалось нас уговорить. Но как только всходило солнце, сразу же делалось жарко, и мы, схватив свои постели, бежали в дом досыпать...

Однако в эту первую ночь в лагере было не до веселья. Я довольно спокойно улеглась на свою кровать с жидким тюфячком и укрылась тонким одеялом. По мере возможности я старалась не думать о грустном: ведь в конце концов я же сама захотела поехать в лагерь! Вот встанем завтра, и начнётся новая интересная жизнь... Так я и говорила девочкам, лежавшим около меня, хотя мои новые подружки уже вспомнили о своих мамах и начали потихоньку хныкать. Наступившая ночь никому не прибавила оптимизма, к тому же стало холодно. Я замёрзла и решила пойти в каптёрку (так на военный манер тогда называли вещевого склад, или камеру хранения), чтобы взять своё пальтишко и укрыться... На полу каптёрки были разбросаны чьи-то вещи, однако моего чемоданчика мне найти не удалось...

Ну, знаете ли, всякий стоицизм имеет свои пределы... Я кинулась обратно на нашу веранду, с трудом разыскала в темноте свою кровать среди многих таких же и с плачем уткнулась в казённую подушку под наволочкой с печатью. А вокруг уже на разные голоса плакали большие и маленькие девочки. Больше ста девочек рыдало на открытой лагерной веранде... Прибежали начальник лагеря и все пионервожатые. Они металась между кроватями, утешали, уговаривали, – но всё бесполезно. Наконец догадались принести откуда-то запасные одеяла, нас всех забот-

ливо укрыли, мы угрелись и постепенно успокоились. В лагере наступила долгожданная тишина...

Что мне запомнилось из того первого лагеря? Кормили нас, исходя из условий военного времени, наверное, неплохо, но таково уж свойство всех лагерей: детям постоянно хочется есть – возможно, это результат круглосуточного пребывания на свежем воздухе. Немного забегаая вперёд, вспомню лагерь той же Артиллерийской академии в первый послевоенный год. Этот лагерь помещался под Москвой в окрестностях города Истры, почти полностью разрушенного немцами. Лагерные помещения не были ещё окончательно достроены, просёлочные дороги, которые вели к лагерю, после дождя оказывались непроходимыми, а потому иногда сутками не удавалось подвезти нам продукты. Вот где мы действительно голодали! Помню начальницу того лагеря: немолодую женщину, измученную обстоятельствами жизни и работы. Иной раз ей приходилось обращаться к нам со следующим призывом: «Ребята! Машина с продуктами, видимо, застряла в лесу. У нас осталось шесть банок тушёнки и четыре буханки хлеба. Идите в поле, собирайте щавель, мы хоть супу вам наварим!» И мы снимали наволочки с подушек и шли собирать в них щавель... Это случалось частенько, так что наша руководительница даже говорила: «У меня ребята на подножном корму»...

Из собранного щавеля и упомянутой тушёнки варилась похлёбка, тарелку этого варева и почти прозрачный кусочек чёрного хлеба нам выдавали на ужин, после чего мы, ворча, расходились по своим спальным помещениям – сараям без отопления. И вдруг часов в 12 ночи звучит горн, раздаются звуки нашего лагерного «набата» – удары железкой по подвешенному около кухни рельсу: пришла машина с продуктами... Завернувшись в одеяла, мы идём к столовой, где нам выдают по краюхе хлеба, густо намазанной маслом...

В том лагере я узнала массу «голодных» песен, которые были сложены, надо полагать, ещё в годы войны. Мы распевали их на мотивы известных песен. Так, на мелодию популярного «Воздушного марша» мы пели: «Нас привезли, чтоб сказку сделать былью, /преодолеть и голод, и нужду, /и кормят нас крапивой и полынью /и выдают другую ерунду...» А припев был такой: «Всё хуже, и хуже, и хуже, /совсем перестали кормить. /Подтягивай пояс потуже, потуже /– и будем добавку просить».

В Самаркандском лагере ничего подобного не было, но я помню, что старшие мальчики по окончании обеда и ужина постоянно стучали ложками по тарелкам и хором скандировали: «До-бав-ки! До-бав-ки!» Они же во время мёртвого часа делали набеги на соседнее подсобное хозяйство: в то время почти каждое учреждение имело сельскохозяйственные угодья – источник дополнительного питания для сотрудников... Свою добычу: яблоки, персики, виноград – ребята рассовывали всем нам под подушки, так что, если появлялся сторож из подсобного хозяйства вместе с начальником лагеря, то обыск не позволял обнаружить виновников хищения.

Из этого первого лагерного лета запомнилась наша самодеятельность: у нас была хорошая вожатая, которая разучивала с нами песни и танцы к лагерному ко-

стру. Мы готовили узбекский танец «Алмачай», что в переводе обозначало «Яблоко». Узбекские танцы вообще очень красивы и своеобразны, движения танцовщиц воспроизводят, вероятно, какие-то элементы быта народа, его труда. Очень хорошо танцевали узбекские девочки в своих национальных костюмах с монетками, вплетёнными в косички.

...Мне не удалось полностью пробыть в лагере положенные три недели, хотя я привыкла, и мне даже там понравилось. Но в Самарканде летом очень много moskitov, а за городом – особенно, так что через несколько дней после приезда я при моей особой восприимчивости была вся искутана и с головы до ног вымазана зелёной. Папа, приехавший меня навестить, естественно, пришёл в ужас, сообщил о своих наблюдениях маме, и та немедленно забрала меня домой,

...Осенью 1943 года я пошла в третий класс, и начало этого нового учебного года памятно мне масштабным педагогическим экспериментом, знаменовавшим возвращение к прежней гимназической системе. Во-первых, вместо привычных уже «отлично», «хорошо», «посредственно», «плохо» была введена пятибалльная система оценок успеваемости. А во-вторых, началось раздельное обучение, причём, так как школьных зданий было недостаточно, мальчиков и девочек для начала разделили по классам. В нашей школе это выглядело так. Два урока мы проучились спокойно, ни о чём не подозревая, а потом в класс вошла Валентина Тимофеевна – учительница параллельного третьего «В» – и скомандовала: «Мальчики, выйдите в проход между партами и построитесь в линейку! За мной, шагом марш!» – И все мальчики ушли, а вместо них вошли девочки, которые с шумом и смехом начали рассаживаться на освободившиеся места.

Мы все, оставшиеся девочки, были просто ошарашены и сиротливо жались друг к другу, новенькие казались нам очень активными, бойкими, к тому же они были недовольны тем, что их учительница осталась с мальчиками. Но мне эти девочки из третьего «В» понравились, и я несколько не жалела об ушедших мальчиках, довольно-таки хулиганистых субъектах. Началась наша учёба в «девчачьем» третьем «А» классе. Школы были переполнены, поэтому за партами мы сидели по трое, и было тесновато, тем более, что осенью и зимой пальтишек мы не снимали. Если в школе и было предусмотрено отопление, то работало оно еле-еле, а может быть, и вовсе не работало. Спасало то, что холодное время года в Самарканде непродолжительно.

На чем мы писали? Мне кажется, что в основном в самодельных тетрадках, которые родители делали из «подручных материалов». Вспоминаю свои упражнения на обороте маминых стенограмм. Но всё-таки были и настоящие тетрадки – промышленность Узбекистана, этого глубокого тыла страны, продолжала понемногу выпускать некоторые виды мирной продукции. Правда, тетрадки тогда были из очень плохой бумаги, и чернила на них расплывались.

В школе чернил не было, в магазинах они тоже не продавались, поэтому мы их делали сами из химических карандашей, и полученная таким кустарным способом жидкость была очень «ядовитой»: отмыть, отстирать чернильное пятно было, практически, невозможно. Поэтому существовали специальные чернильницы-

непроливайки, в которых мы носили чернила в школу. Эти непроливайки были либо тёмненькие пластмассовые, либо белые фарфоровые, с рисунками котят или цветочков. Мы, девочки, любили фарфоровые непроливайки, действительно, очень симпатичные, даже изящные, и дарили их друг другу в знак расположения. Для чернильниц мы шили или вязали специальные мешочки, которые привязывали к ручкам наших школьных сумок и портфелей.

Однако мальчишки, которые учились с нами в одной школе, только в отдельных классах, ухитрились срезать наши непроливайки и превращать их в опасные игрушки: они начинали перебрасываться чернильницами, пинать их ногами, и в результате превращали их в «проливайки», так что, сколько себя помню, мы вечно ходили залитые чернилами. Те же мальчишки очень ловко приспособились «отщёлкивать» нам пуговицы, для чего у них были специальные «машинки». Стоишь, бывало, около школы, ожидая, пока выйдет предыдущая смена (в две-три смены учились во всех школах даже много лет спустя после войны), как вдруг к тебе подскакивает какой-нибудь сорванец: щёлк-щёлк-щёлк – и ты осталась без пуговиц...

Но это всё были «мелочи жизни», главное, учиться было интересно и радостно – может быть, ещё и оттого, что в новом объединённом классе я нашла себе замечательную подружку... Или это она меня нашла?.. Рассказ об этой школьной дружбе придётся начать издалека.

Почти напротив нашей школы, на той же Ленинской улице располагался магазин для научных работников, куда был прикреплен папа. Видимо, карточки там отоваривали несколько лучше, чем в других торговых точках города, и я теперь думаю, что в те далёкие годы правительство проявляло какую-то особую заботу о научных и преподавательских кадрах. Вот был специальный магазин и столовая, где мы периодически в самую голодную пору брали обеды на дом; мне кажется, что и преподавательская работа тогда оплачивалась достойно. Может быть, поэтому в 40-х годах прошлого века мы имели такой взлёт науки, особенно физики, такое развитие военной техники, что смогли превзойти фашистскую Германию и в конечном итоге выиграть войну.

...Так вот, в военные годы научных работников дополнительно подкармливали, но, конечно, приходилось буквально за всем подолгу стоять в очередях, и эту трудовую повинность взяла на себя наша бабушка Анна Харитоновна. В ожидании завоза продуктов очередь обычно располагалась на берегу арыка, под тенистыми деревьями; в магазинах ожидать не разрешали – они, насколько я помню, были небольшие, тесноватые, да и душно там было... Через какое-то время мы стали замечать, что бабушка возвращается из магазина вроде бы даже не очень усталая, а какая-то воодушевлённая, переполненная впечатлениями. Рассказывает: подружилась она с интереснейшим человеком – Марией Владимировной Рудневой. Сидя на берегу арыка, эта женщина читала стихи, рассказывала какие-то необыкновенные сказки, пела по-итальянски. При этом она вышивала болгарским крестом, и все дежурившие в ожидании продуктов женщины немедленно образо-

вали «клуб рукодельниц». В компании с Марией Владимировной время летело быстро, и ожидание не казалось таким тягостным...

...А через некоторое время ко мне в школе на перемене подошла моя одноклассница из новеньких – Клавденька Круг-Лучинская, стриженная наголо, как многие дети в то время, и, глядя на меня своими большими карими глазами, приветливо сказала: «А моя мама и твоя бабушка вместе в очереди стоят!» И началась с этого момента наша с Клавденькой дружба, не только в школе, но и домами, потому что мои мама и бабушка очень полюбили Марию Владимировну. И в том далёком 1943 году, среди неустроенности и нестабильности нашего временного в тех краях существования вдруг возник необыкновенно уютный, даже какой-то «старинный» дом с красивой дореволюционной мебелью, высокими трюмо, фортепиано, брокваузовскими изданиями Шекспира, Шиллера, Гёте...

Дом этот принадлежал родителям Марии Владимировны: известному профессору медицины, переводчику трудов Гиппократу Владимиру Ивановичу Рудневу и его жене Елизавете Григорьевне. Эти люди, а также их дочь были интеллигентами в самом высоком смысле этого слова; Мария же Владимировна была при этом многогранно талантливый человек: она прекрасно играла на фортепиано и пела, вышивала и рисовала. А как она умела придумывать и устраивать праздники для детей даже в суровую военную пору! На этих праздниках бывало и угощение, и много музыки, и весёлые игры, и даже сюрпризы, которые мы все получили по ходу дела. Сколько же радости доставляло нам всё это, и я всегда с благодарностью вспоминала добрую волшебницу своего детства – Марию Владимировну Рудневу...

Часто после школы я ходила домой к Клавденьке. Там мы делали письменные уроки – кто скорей. Способности у Клавденьки были блестящие, а память фотографическая, поэтому устные уроки ей было учить не нужно – она всё усваивала в классе и даже декларировала, что дома читают учебники только зубрилы-мученики. Я ей из солидарности поддакивала, но всё-таки была вынуждена заглядывать в книги, хотя чувствовала себя при этом нарушительницей конвенции. Быстро справившись с уроками, мы долго играли, большей частью опять-таки «в школу». Завели тетрадки и дневники для наших игрушек, ставили им отметки. А потом все шли провожать меня домой... В моей памяти возникает картинка из тех далёких лет. Мы идём от Рудневых – с улицы Энгельса, дом 3. Впереди бегут Саша и сестрёнка Клавденьки – пятилетняя белокурая Лиза, за ними идём мы с Клавденькой, весело размахивая сомкнутыми руками, а наша бабушка и Мария Владимировна идут поодаль и разговаривают... Вечереет, жара уже спала, и так весело нам с Клавденькой шагать в ногу и поглядывать друг на друга. И нам радостно потому, что завтра мы опять встретимся в школе и будем там с удовольствием заниматься. И вообще, жить – здорово!..

Наш третий «А» класс оказался очень сильным; каждую четверть семь-восемь девочек оказывались отличницами, но дело даже не в этом: было принято, отвечая урок, рассказывать что-то дополнительное, чего нет в учебнике. В Самар-

канде было много по-настоящему культурных семей, в домашних библиотеках хранились интересные книги, а дети тогда много читали.

Учителя поддерживали и развивали нашу инициативу. Мне запомнился один очень интересный урок, который провёл у нас в классе учитель военного дела. Этот предмет ввели в школах зимой 1943-44 года, и мы, сидя на уроке, видели в окно, как во дворе школы маршировали то женские классы, то мальчики. У старшеклассников, по-моему, даже было что-то в руках... Не уверена, что оружие, может быть, какие-то макеты или просто палки... Наш класс тоже в положенное время выводили во двор и учили выполнять команды: «Нале-во!» – «Напра-во!» – «Кру-у-гом!» – «Ряды...вздой!» – «Левое плечо вперёд...Шагом...марш!!!» Командиром нашего «взвода» была самая высокая в классе девочка, а я – вторая по росту – была командиром первого отделения, так что «начальство», видимо, выбиралось чисто формально, чтобы не нарушать «ранжира» – какое-то непонятное нам, но очень ходовое в моем «военизированном» детстве слово.

Но мы не только маршировали. Той зимой учредили военные ордена имени Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова и Михаила Кутузова, и наш учитель – пожилой человек, видимо, отставной военный – дал четырём девочкам соответствующие темы для докладов об этих великих полководцах. Мне досталось докладывать о Кутузове, Клавденьеке – об Александре Невском, и я хорошо помню её живое, темпераментное, со многими подробностями сообщение о Ледовом побоище: будущий историк уже вполне просматривался.

В третьем классе в те годы уже давались основы многих наук: проходились и география, и естествознание, а также с третьей четверти – история. Учебники по этим предметам были старые, ещё довоенные. Вспоминаю эти ужасные книги по истории СССР с портретами «врагов народа», замазанными чернилами, и с соответствующими рукописными подписями под ними. Кто был изображён на этих картинках, понять было нельзя, так как в тексте были сделаны соответствующие купюры химическими чернилами. Как я теперь догадываюсь, это были Тухачевский, Блюхер, Якир и другие военачальники, расстрелянные в 1937 году ...

Учебник естествознания состоял из разделов «Неживая природа» и «Живая природа». К последней я никогда особенной склонности не проявляла, а первый раздел «Естествознания», знакомый мне частично по научно-популярным изданиям типа «Следы на камне», «Человек и стихия», «Рассказы о вещах», был более интересен. Но в чём-то и труден. Помню не слишком понятные объяснения в учебнике об устройстве сифонов, сообщающихся сосудов, паровой машины. Папа к этим моим занятиям проявлял большой интерес и был готов дать мне исчерпывающие объяснения. Однажды он рассказал мне об устройстве паровой машины, и я не только всё хорошо поняла, но даже заинтересовалась технической стороной вопроса и вдруг решила раз и навсегда: я буду инженером, как папа!

Теперь, в конце своего трудового пути, я могу констатировать, что достаточных способностей к этому рода деятельности у меня не было: вообще мне кажется, что инженерная профессия не для женщин. Но тем не менее я сделала свой

выбор в десять лет и потом всю жизнь шла по обозначенному тогда пути... Что ж, моя работа всегда вызывала у меня интерес, но по настоящему я себя нашла, когда начала преподавать в вузе... Между прочим, я ученица своего отца, и очень этим горжусь: в институте я прослушала у него целый ряд предметов, а потом много лет сама читала те же дисциплины студентам...

...Из института – снова в школу... Ещё одна примета того времени: в целях профилактики нам часто делали прививки. Идешь, бывало, в школу и чувствуешь, как на всю Ленинскую уже пахнет спиртом. А у дверей класса жмутся испуганные одноклассницы, никто не хочет заходить первой. Дальше всё происходило так: сначала делали прививку Инне Баклаженко – прекрасной девочке, которую я всегда вспоминаю с удовольствием, – а потом она начинала помогать врачу и сестре. Инна держала девочек, ободряла их и уверяла, что прививка – это совсем не больно! Уколы тогда делали в спину или в руку, так что какая-нибудь малышка, заливаясь слезами, облакачивалась на Инну, а та её обнимала, и от этого делалось менее страшно. А наша учительница Ида Григорьевна говорила: «Наверное, Инночка будет врачом»...

После Инны бесстрашно бросалась навстречу опасности Клавденька, а за ней приходилось следовать и мне. Моя подружка говорила: «Вот сейчас уколемся и пойдем гулять по Ленинской. Все ещё будут дрожать, а мы уже отделались». И действительно, «отделавшись» в числе первых, мы на крыльях вылетали из школы и шли по широкой зелёной улице, а весенний ветер трепал отросшие светлые и легкие Клавденькины волосы и красные пионерские галстуки, которые у нас появились ещё в феврале 1943 года: к юбилею Красной армии нас, тогда второклассников, приняли в пионеры, и мы были этим горды и счастливы.

Прошло много лет с тех пор, но я и сейчас не усматриваю в этом событии ничего плохого, и хотя теперь задним числом принято на чём свет стоит ругать пионерскую организацию: и «заорганизованы»-то были дети, и «заидеологизированы», и Павлика Морозова, предавшего собственного отца, почитали за героя... Слушайте, давайте оставим в покое маленького несмышлёныша, поплатившегося жизнью за нечестную игру взрослых людей!.. А что касается лично меня, то я не могу ничего плохого написать о своей длинной пионерской, а потом комсомольской жизни. Вспоминаются интересные, часто тематические сборы, вечерние костры в лагерях с пением хороших, наполнявших душу теплом песен, с обязательными выступлениями участников самодеятельности. А сколько хороших вожатых было в моем детстве! Они стремились организовать наш досуг, занять его какими-нибудь интересными делами. Может быть, у меня сложилось такое впечатление о пионерской организации потому, что я была самым рядовым из рядовых её членов, не была причастна к какой-либо идеологической «кухне» детского движения, и все эти заранее спланированные мероприятия воспринимала как хорошо организованные детские праздники. А участие в общественно-полезном труде не только доставляло удовлетворение, но и помогало преодолевать чувство внутренней скованности и одиночества...

...Весной 1944 года наша бабушка уехала в Ташкент к своей младшей дочери и вместе с ней вернулась в Москву. После отъезда бабушки из Самарканда мне пришлось заменить её в многочисленных и протяжённых очередях за продуктами. Памятны многочасовые ожидания в хлебном магазине, вернее, тесной и душной продуктовой лавке; на улице была такая жара, что носа было высунуть нельзя. Продавщицами были ловкие одесситки по имени Оля и Руня, чернявые и языкатые. Ожидая, когда привезут хлеб, они зубоскалили с покупателями, а когда грузчики вносили лотки с тяжёлым, плохо пропечённым чёрным хлебом, эти женщины быстро принимались за дело. Они ловко развешивали хлеб в соответствии с предъявляемыми карточками, но при этом, как водится, не забывали и себя. Все это знали, но, по обычаю наших советских покупателей, предпочитали помалкивать, дабы не навлечь на себя гнев вершительниц наших судеб: ведь хлеб – это была сама жизнь.

Иногда к Оле и Руне приходили их дети: у одной была дочь Милочка, у другой – сын Юра. Это были аккуратно одетые подростки лет двенадцати-тринадцати. Они проходили за прилавков и скрывались в «алтаре» – подсобном помещении лавки, и нам, детям, сидевшим в очереди и изрядно проголодавшимся в ожидании хлеба, воображение рисовало картины «лукуллова пира», происходившего в подсобке. Хотя, я теперь думаю, дело ограничивалось тем, что каждый из детей получал от любящей мамы по куску хлеба с маслом.

Но вот, наконец, и я получаю свой паёк, можно идти домой, а по дороге я потихоньку отщипываю кусочки хлеба от корочки, хотя и знаю, что мне обязательно влетит. Родители убеждали меня, что надо придти домой, вымыть руки, отрезать кусок хлеба и только тогда начать его есть. Но я до сих пор уверена, что отщипывать хлеб на ходу куда вкуснее.

Домой!

Слухи о том, что Артиллерийская академия готовится к возвращению в Москву, начали распространяться задолго до того, как эвакуация этого громадного учебного заведения начала обретать черты реальности. Собираться и складываться мы, по-моему, начали ещё в марте 1944 года, хотя ориентировочно наш отъезд был назначен на середину лета. Предполагалось, что мы будем возвращаться санитарным поезде, который доставит раненых в Самарканд, а обратным рейсом повезет в Москву часть слушателей академии, преподавателей и членов их семей. Вероятно, эшелонов, подобных нашему, было сформировано и отправлено несколько, так как вместе с нами ехали малознакомые люди, а те, с кем мы дружили в Самарканде, уехали либо раньше нас, либо позже.

Лето 1944 года было, по моим воспоминаниям, невероятно жарким. В результате длительного пребывания в душных помещениях я два раза получала тепловые удары: внезапно поднималась температура, меня тошнило, начиналась сильная головная боль; на несколько дней меня укладывали в постель. Помню, как я лежала ночами в постели в полубредовом состоянии и всё пыталась сосчи-

тать, сколько дней осталось до моего дня рождения – 26 июля. То выходило восемь дней, а то девять... Видимо, я болела почти накануне нашего отъезда из Самарканда, так как свой одиннадцатый день рождения я встретила уже в поезде, который вёз нас всех обратно в Москву.

Мне хорошо помнится день отъезда из Самарканда – 24 июля 1944 года. Жара, кажется, достигла своего апогея: по Цельсию, 42° в тени, а на солнце – больше 80°; говорили, что это предел: выше температуры на Земле не бывает. Вещей у всех было много: во-первых, семьи перемещались немаленькие – нас, например, было четверо. А во-вторых, мы не знали, что ждёт нас в Москве: ходили такие слухи, что пустующие квартиры были все разграблены, а то и заселены посторонними людьми, получившими ордера в отсутствие эвакуированных жильцов. Так что мама не решалась оставить на месте нашего двухлетнего обитания ни кастрюли, ни одеяла, ни, тем более, чего-нибудь из одежды: весьма возможно, что нам предстояло начать жизнь сначала...

Вагоны поезда, куда мы, наконец, погрузились, были раскалены как снаружи, так и внутри; и только когда около трёх часов пополудни наш состав тронулся, мы, открыв все окна, почувствовали некоторое облегчение и огляделись. Вагон, где мы разместились, был типа жёсткого плацкартного, причём функционировали не два яруса полков, как обычно, а три: на верхних багажных полках ехали какие-то мужчины, то ли молодые преподаватели, то ли слушатели академии. Эти «верхние» именовались у нас «холостяками», им утром и вечером приносили какую-то еду (видимо, это всё-таки были слушатели, находившиеся на казённом содержании). Остальные пассажиры получали раз в день обед, но за ним надо было ходить в вагон-столовую. Санитарный поезд был хорошо приспособлен к тому, чтобы ежедневно кормить большую массу людей, так что следует добрым словом вспомнить тогдашнее академическое начальство, организовавшее нашу транспортировку столь разумным образом. Начальником Артакадемии в то время был Анатолий Аркадьевич Благоднравов, исключительно светлая личность и большой учёный, возглавивший впоследствии Институт машиноведения АН СССР.

...Поезд то мчался на всех парах, то на много часов застревал на какой-нибудь станции. Объяснялось это тем, что шёл наш состав вне расписания, к тому же в первую очередь пропускались эшелоны со стратегическими грузами. Постепенно сложился вагонный быт, отмериваемый часами «до обеда» и «после обеда». За окнами бежали однообразные пейзажи так называемых голодных степей. На внеплановых остановках все пассажиры высыпали из вагонов, чтобы облегчить тело и душу, а свисток паровоза заставлял всех кидаться обратно, вскакивая на подножки, пока состав не набрал скорость. После каждой такой остановки по вагонам проходили специальные уполномоченные и проверяли, все ли на месте. Как-то раз мы недосчитались одного из наших «верхних холостяков» и подняли тревогу к неудовольствию последнего, который вскоре отыскался в другом вагоне, где ехали симпатичные лаборантки с кафедры металловедения.

Помню ещё одно ЧП: у кого-то вылетела в окно сумка с деньгами и документами, после чего владелец сумки сорвал стоп-кран. Был страшный толчок, с

вагонных полок посыпались вещи; возможно, возникли какие-то технические повреждения. Состав встал посреди чиста поля (степи!). После этого по вагонам ходил представитель начальника нашего эшелона и читал приказ, по которому запрещалось пользоваться аварийными средствами остановки состава без самой крайней необходимости. Слава Богу, такого крайнего случая в истории данного путешествия больше не зафиксировано, хотя наша мама один раз чуть было не впала в искушение остановить поезд стоп-краном.

Это случилось, когда мы уже проезжали Казахстан. На одной из случайных остановок мама решила поменять чай, запасённый в Самарканде, на какие-то овощи, принесённые к поезду местными жительницами. Объяснялись знаками и при помощи упомянутого выше базарного термина «Ничпуль?» – «Сколько стоит?». В ответ на этот прямой вопрос обычно выбрасывалось необходимое количество пальцев. Мама осведомилась у торговки, скольким пачкам чая эквивалентны её помидоры, и та показала ей два пальца, после чего мама простодушно протянула ей две пачки чая через окно. В это время паровоз свистнул, торговка отпрянула от вагона, изобразив всей своей позой крайнюю степень ужаса и унося с собой свои овощи, несмотря на мамину отчаянную жестикуляцию. А состав между тем двинулся дальше.

Мы ехали около двух недель в жаре и духоте. На больших станциях паровоз набирал воду, а пассажиры мужского пола радостно плескались у водокачки. Все прочие пассажиры раз или два за время пути организованно проходили санобработку, то есть мылись в бане на какой-нибудь крупной станции, в то время как их одежда прожаривалась в специальной камере.

Из этого нашего путешествия мне больше всего памятни два приятных эпизода. Во-первых, мой день рождения на третий день пути. Я получила в подарок мячик. В вагоне он был бесполезен, но я всё-таки потихоньку играла им на своей верхней полке. Ещё мне подарили интересную книжку «Дымка» – о мустанге американских прерий, трогательную, как все книги о животных – и настоящую узбекскую тюбетейку, о которой я давно мечтала. Эта тюбетейка очень долго хранилась у меня, и когда какая-нибудь знакомая девочка танцевала татарский или узбекский танец, я предоставляла нарядно вышитую шапочку напрокат. Носила я её и сама, долгое время вспоминая милую сердцу Среднюю Азию.

Второй эпизод – это большой концерт самодеятельности в нашем вагоне. Были и стихи, и пение под гитару, на которой здорово играл кто-то из наших верхних «холостяков». Лаборантки из соседнего вагона не без лукавства пели: «Не давайте интересным ваши ручки пожимать...» Мне кажется, что этот «вагонный» концерт повторялся в расширенном варианте на какой-то большой станции... Или это просто были танцы под баян: я много раз видела в последний период войны, как люди танцевали на вокзалах...

...Сейчас трудно установить, по какой из железных дорог мы возвращались, скорее всего, наш эшелон «пропихивали» там, где было посвободнее. Иногда казалось, что мы возвращаемся назад, в Среднюю Азию: поезд начинал двигаться в обратном направлении, но рано или поздно он снова устремлялся к своей перво-

начальной цели. У Сызрани переехали Волгу, за окном пошли леса, а вскоре замелькали знакомые картинки Подмосковья. Мы уже были почти дома, но в Москву нас не впускали еще несколько дней. Утром 6-го августа 1944 года наш состав, наконец, приняли на Ржевском вокзале, и мы сошли на московский перрон. Ждать, пока разгрузят наши вещи из багажного вагона, уже не было возможности, и мы с мамой решили идти домой пешком по 1-ой Мещанской улице, а папу оставили на вокзале для осуществления заключительных операций нашего затянувшегося путешествия. Мы вышли из вагона и вдруг обнаружили, что на улице очень холодно: Москва встречала нас обычным для первой декады августа понижением температуры, но нам после самаркандской жары холод показался непереносимым. Все теплые вещи были сданы в багаж, поэтому мы завернулись в байковые одеяла и в таком виде, ничуть не смущаясь, пошли по улице, счастливые тем, что, наконец, после трёхлетнего отсутствия вернулись домой.

Вот мы вышли на Садовое кольцо, миновали больницу Склифасовского, а там до нашего Уланского переулка рукой подать. Вот и наш дом №14. Он уже не кажется таким огромным: за эти годы мы с Сашей успели подрасти. Звоним в дверь нашей квартиры на шестом этаже. Стук каблучков. «Кто там?» – И нам открывает дверь соседка, которая раньше нас вернулась из эвакуации.

Мама отперла нашу комнату: дверной проём был затянут тонким слоем паутины, и это было несомненным доказательством того, что без нас здесь никто не жил. Действительно, зимой 1941-42 года центральное отопление не работало, холод был адский, и наше жильё никому не приглянулось... Вещи наши были в порядке, а вот игрушек своих мы с Сашей не могли найти. Пока я искала их в комнате, братик вышел в коридор, открыл стоящий там сундук и с радостными воплями извлек оттуда моих кукол, слегка помятых, но в общем целых и невредимых. А вслед за ними из заветного сундука появились игрушечные машинки, солдатики, кубики...

Этот первый день нашего возвращения прошел в радостной суете и в попытках приспособиться к новым условиям жизни: газа, например, не было, поэтому не функционировали ни газовая плита, ни колонка в ванной, а всем нужно было поесть и вымыться после длинной дороги. Хорошо хоть, что действовал водопровод: из крана на кухне исправно шла холодная вода... В темной кладовке нашлись керосинка и примус, а топливо нам дала взаймы соседка. Так что некоторые насущные проблемы удалось решить оперативно. Но, конечно, нужно было как можно скорее получить продуктовые карточки и прикрепиться к соответствующим магазинам, а это было делом не одного дня...

Однако, как ни проблематично было обустройство нашего быта, вечером следующего дня мы всё бросили и пошли в гости к бабушке Анне Харитоновне, которая 7-го августа была именинницей. В магазине на углу Куйбышевского проезда (теперь он снова называется Богоявленским переулком) маме удалось купить «с рук» две белые булочки, с ними мы и явились в такой знакомый нам всем дом, где у бабушки в громадной коммунальной квартире была одна комната. Пришли

также другие родственники, и хотя война всё еще продолжалась, все опять уже были дома и надеялись на лучшее.

Москва 1944-45 года. Конец войны

Мы вернулись в Москву после трёхлетнего отсутствия, и сознание прежде всего зафиксировало изменения, которые произошли в городе за это время. Первое отрадное наблюдение: на улицах почти не видно следов разрушений – развалин домов, зданий с выбитыми стёклами...

Я по своей натуре урбанистка: люблю город с его оживлёнными улицами, высокими домами, вечно спешащими куда-то прохожими. И зрелище разрушений: коробки зданий без окон и дверей, печные трубы среди обломков кирпича и другого мусора, воронки на улицах и площадях – всё это причиняет мне боль. А мне пришлось увидеть в послевоенные годы и разрушенный Курск, и остов здания Госпрома в Харькове, и полностью разбитый Новый Иерусалим... Знаю, что очень пострадали во время Второй мировой войны многие города Европы. Так Берлин был почти полностью разрушен бомбардировками и боевыми действиями союзников; сильно пострадал от налётов авиации Лондон.

В Москве после нашего возвращения мы ничего такого не увидели. Вблизи нашего Уланского переулка разрушений вообще не было, но немного подалее – на улице Мархлевского, которая сейчас снова называется Милютинским переулком, был разбомблен польский костёл. Это внушительное здание много лет так и оставалось в руинах; возможно, это было связано с его культовым назначением... Бывая на Арбате, я видела разрушенное прямым попаданием бомбы здание театра имени Вахтангова; его восстановили только в пятидесятых годах прошлого века... Мне запомнились также развалины каких-то строений около здания Мосторга (теперешнего ЦУМа); сейчас там разбит сквер, стоят палатки с мороженым и прохладительными напитками... Возможно, были и другие разбомбленные и сгоревшие здания, но я их не запомнила...

Сравнительно небольшой объём разрушений в Москве, которая зимой 1941-42 года оказалась в эпицентре военных действий – это чудо, которому, впрочем, можно найти некоторые объяснения. Прежде всего, Москва не была местом уличных боёв, как, например, Сталинград, который был разрушен почти полностью... Далее: видимо, чётко работали зенитные батареи и воздушные заграждения, не пропускавшие фашистские самолёты к нашей столице... Самое главное – немецкая армия, потерпев поражение в битве под Москвой, не делала новых попыток захватить столицу, и двинулась в южном направлении. Как бы то ни было, но мы нашли наш родной город почти таким же, каким оставили его три года назад...

А вот что нас поражало первое время после возвращения в Москву, так это обилие транспорта на улицах. В Самарканде мы всюду ходили пешком, а местные жители разъезжали и перевозили грузы на ишаках, запряжённых в арбу. За время эвакуации мы успели забыть, как выглядят обычные трамваи, автобусы, троллейбусы; однако после возвращения мы быстро всё вспомнили, приспособились к мо-

сковским условиям и спокойно ездили по городу. Конечно, наиболее удобным видом транспорта в Москве было метро, хотя оно ещё не функционировало в прежнем довоенном объёме. Многие станции зимой 1944-45 года еще были закрыты, в частности ближайшая к нашему дому – «Красные ворота». Проезжая эту станцию, мы прижимались носами к стеклу вагонной двери, надеясь увидеть что-нибудь интересное. Но мимо нас неизменно проплывала пустынная платформа, и если по ней вдруг проходил какой-то человек, нам уже это казалось чудом...

Мы сейчас нередко ругаем московскую мэрию за недостаточную, по нашему мнению, распорядительность... Однако за минувшие годы Москва очень сильно изменилась к лучшему и стала, действительно, одним из красивейших мегаполисов мира; я могу это удостоверить, так как повидала много европейских городов. Но как же отличалась Москва послевоенных лет от того прекрасного города, который мы видим сейчас! В то время во дворах и переулках было ещё много ветхих деревянных строений – «домов с мезонинами», но не в чеховском романтическом смысле. Да и каменные дома были в основном дореволюционной постройки, находились в плохом состоянии, долго не ремонтировались... К тому же они были плотно заселены. Отдельные квартиры в то время имели немногие, основная часть населения жила в коммуналках. После войны перенаселённость жилого фонда, кажется, достигла своего апогея, и возвращавшиеся из эвакуации москвичи нередко заставляли свои квартиры занятыми: туда вселялись люди из аварийных домов, а также приезжие, получавшие всеми правдами и неправдами московскую прописку, в том числе и по лимиту – городу требовалась рабочая сила. Подвалы домов были обитаемы, там гнездились иной раз по нескольку семей... Из глубин памяти всплывает ходовое в те годы выражение «жилищный кризис»; об этом официально говорили и писали. Только в самом конце пятидесятых годов прошлого века, в эпоху массовой жилищной застройки, началось капитальное расселение коммунальных квартир и подвалов... И хотя все эти «Новые Черёмушки», «Бескудниковские бульвары» и т.п. представляли собой преимущественно однообразные кварталы не слишком удобных для жизни пятиэтажек, москвичи были рады въехать в отдельные, пусть и малогабаритные квартиры...

Центральное отопление в Москве было далеко не везде – в большинстве домов топили печи, а потому дворы были загромождены дровяными сараями. На дрова выдавались ордера, и москвичи «отоваривали» их на складах, которые размещались в черте города, в удобных для населения местах. Даже непосредственно прилегавшая к Красной площади территория представляла собой нагромождение каких-то ветхих строений, сараев, складов... Я это знаю, потому что моя бабушка жила в этом районе, и дровяной склад помещался как раз напротив её дома. Это было, конечно, удобно, но тем не менее дрова нужно было вывезти со склада, перенести в дом, соответствующим образом подготовить: наколоть помельче, настрогать лучинок для растопки; хлопот со всем этим было много... Но топить печку – это особенное удовольствие: всё-таки в каждом из нас, где-то в неведомых глубинах природы, притаился огнепоклонник... И последняя военная зима мне па-

мятна тем, как мы сидим с бабушкой около печки, подкладываем в неё дровишки, и мне так тепло и хорошо – не только потому, что ярко пылает огонь, а ещё и оттого, что рядом со мной такой любимый и дорогой мне человек... Центральное отопление в бабушкин дом провели уже после войны, и кафельная печь осталась украшением её скромного жилища.

А вот газовой плиты бабушка так и не дождалась: она умерла летом 1948 года, когда в Москве только начали прокладывать газовые трубы. Все улицы и переулки были тогда перерыты вдоль и поперёк, газ вели во все, даже в самые ветхие строения. Это было огромным счастьем, и люди не могли налюбоваться на газовые плиты – такие удобные, экономичные, гигиеничные... Но в 1944 году до подачи в Москву так называемого «саратовского газа» было ещё четыре года, так что в ожидании лучших времён приходилось греть воду, кипятить бельё и готовить пищу на керосинках, примусах и громоздких керогазах. А горючее для них получали по талонам в керосинных лавках. Эти заведения размещались повсеместно в московских переулках и представляли собой одноэтажные отдельно стоящие каменные строения с земляным полом, так что техника безопасности при продаже горючих материалов здесь, по возможности, соблюдалась. Эти лавки, по сути дела, выполняли роль хозяйственных магазинов. Вы входили, и вас охватывали запахи керосина, скипидара, мыла, мастики и ещё чего-то неведомого, что создавало совершенно непередаваемый «ароматический букет». Основным продуктом, для продажи которого предназначалась лавка, был, конечно, керосин. Его разливали специальными мерными кружками на длинных ручках через широкие воронки... Но кроме керосина, денатурата – особого вида спирта, применяемого для разжигания примусов, в керосинной лавке продавалась масса полезных для хозяйства вещей. На полках щетинились разнообразные тёрки, щётки, мочалки; свисали гирлянды веников; уличные мётлы, лопаты и черенки к ним скромно стояли в углу... Солидно поблескивали стёклами керосиновые лампы различных размеров. А как же без них! Электричество часто отключали той последней военной зимой, и керосиновые лампы нас очень выручали.

В условиях коммунальных квартир, когда на кухне одновременно функционировало несколько соседок, хозяйки ухитрялись не только готовить повседневную пищу, но и печь отличные пироги и изысканные торты. Пироги пекли в «чудо-кастрюлях» – металлических круглых формах с «окошечками» по линии разъёма. А чтобы приготовить торт «Наполеон», изобретательные женщины тонко тонко раскатывали 12 коржей пресного теста, а затем выпекали их на сковородке. Коржи укладывали на блюдо и смазывали заварным кремом, для изготовления которого использовали продукты-заменители военного времени: яичный порошок и суфле, выдававшееся по талонам вместо молока. Изготовление кондитерских шедевров осуществлялось на коммунальной кухне, и никого не смущало, что рядом на табуретке шумел примус и клочкотал бачок с бельём соседей, так как стирали на тех же коммунальных кухнях. Не было ни стиральных машин, ни горячего водоснабжения, а первые общественные прачечные открылись только в пятидесятых годах.

Стирка, готовка... Все это отнимало очень много времени, тем более, что не было возможности сохранять приготовленную еду в течение более или менее длительного времени. Иначе говоря, не было столь привычных нам сейчас холодильников. Даже слова, обозначающего это полезное устройство, не существовало. В появившейся перед войной «Книге о вкусной и здоровой пище» упоминалось о каких-то специальных охлаждающих камерах, установленных на мясокомбинатах... Писатели Ильфа и Петрова в своей «Одноэтажной Америке» обмолвились о «холодильных шкафах – пределе мечтаний американских молодожёнов». Но нам в ту пору все это казалось научной фантастикой, и чтобы не прокис суп, кастрюли приходилось ставить на окна, где было прохладнее, чем в комнате. Осенью и зимой съестное, а также сырое мясо и рыбу вывешивали за окна, так что ходить вблизи домов было небезопасно. Особенно мучились летом: в деревне или на даче можно было организовать погреб, но в городе это было решительно невозможно... Поэтому, когда спустя лет восемь после войны началась продажа отечественных холодильников – «Саратов», «ЗИС» – в магазинах Электросбыта организовались огромные очереди. Люди отмечались месяцами, прежде чем украсить свою комнату холодильником – на кухне коммунальной квартиры места этим агрегатам, разумеется, не было... Почти одновременно с холодильниками в домашнем обиходе начали появляться первые телевизоры. – КВН с маленьким экраном; для увеличения изображения к ним приспособивали специальные линзы, заполненные касторовым маслом. Но даже такие, не совершенные ещё телевизионные аппараты, вызывали огромный интерес и, бывало, что в комнате счастливого обладателя этого чуда науки и техники собирались и жильцы коммунальной квартиры, и соседи по площадке.

Но все эти приятные события происходили в пятидесятых годах, а осенью 1944 года нашим родителям пришлось окунуться в гущу хозяйственных хлопот. И прежде всего, нужно было получить продуктовые карточки, которые выдавались в Горторге или в каком-то другом подобном учреждении, по предоставлении соответствующих справок с места работы и из домоуправления. Затем нужно было прикрепиться к продуктовому магазину и отдельно к булочной – хлеб выдавался только там. А кроме того, нужно было срочно устроить детей в школу, так как приближалось начало учебного года. Здесь тоже оказалось много сложностей. Во-первых, многие школьные здания были заняты под госпитали, причём, что особенно обидно, соседняя с нами школа № 281, куда я поступила перед войной, также была заполнена ранеными, которые выглядывали из окошек бывших классных комнат или гуляли во дворе.

Второе осложнение заключалось в том, что в соответствии с проведённой в 1943 году школьной реформой нужно было разделить в учебном процессе мальчиков и девочек – и это при дефиците учебных помещений! В результате около нашего дома было две женские школы и ни одной мужской. Поэтому брата Сашу определили в 276-ю школу, которая помещалась на улице Мархлевского, как раз напротив разбомбленного костёла. От нашего Уланского переулка это было до-

вольно далеко: нужно было переходить через улицы с оживлённым движением, пересекать Сретенский бульвар и две трамвайные линии, а наш мальчик был ещё мал и, как большинство детей его возраста, рассеян и несобран. Поэтому днём Сашу некоторое время провожала мама, пока он не приспособился ходить сам, а мне вменили в обязанность встречать его по вечерам, так как Саша занимался во вторую смену.

В классе, где учился мой брат, было много переростков: до войны в школу принимали детей не моложе восьми лет, но брали и девятилетних; зимой 1941-42 года школы были закрыты – вот набежал ещё год... Эти большие мальчишки вели себя очень агрессивно. Вечерами в то время часто отключали электричество, и как только висевшая под потолком лампочка гасла, в классе начиналось нечто невообразимое. Большие мальчишки скакали по партам, по классу летали книжки и тетрадки. Младшие ребята залезали под парты. Сашиной учительницей была старушка Анна Михайловна, которая по росту почти не отличалась от своих маленьких учеников, и чтобы её не убили во время «вакханалии», ей приходилось прятаться под стол. Но рано или поздно снова давали свет, и дисциплина в классе восстанавливалась. Анна Михайловна заканчивала урок, строила ребят парами и сводила их вниз по лестнице в вестибюль, с достоинством возглавляя шествие.

Правда, в последующие годы контингент учащихся постепенно выравнивался. Переростки, существенно отставшие в учёбе, после четвёртого класса уходили в ремесленные училища и школы ФЗО – учиться рабочим профессиям. После седьмого класса отсев происходил ещё раз: очень многие школьники уходили в средние специальные учебные заведения. Хотя некоторые ребята неплохо заканчивали седьмой класс, но у родителей не было средств учить их дальше – нужно было скорее начинать работать и помогать семье. В то время пользовались популярностью различные техникумы, медицинские и педагогические училища, и выпускники этих учебных заведений великолепно работали, каждый на своём месте. Кстати сказать, сейчас снова возникли разговоры о необходимости восстановить, хотя бы в прежнем объёме, «среднее звено» специалистов.

Что же касается моей учёбы, то меня определили в школу, как бы теперь сказали, другого микрорайона. Дело в том, что мой папа очень хотел, чтобы я учила английский язык, а в ближайшей женской школе преподавали немецкий и испанский. Папа сходил в РОНО и договорился о том, что меня примут в школу № 610, где были классы как с немецким, так и с английским языком. Дальнейшие хлопоты взяла на себя мама. Она отправилась на Сретенку, где помещалась школа, с твёрдым намерением определить меня в английский класс, но в коридоре встретила учительницу немецкого 4-го «А» класса – Александру Спиридоновну Демичеву, которая ей очень понравилась. А Александре Спиридоновне понравился мой отличный табель, и она уговорила маму определить меня в класс с немецким языком... Так я и осталась без английского, и впоследствии по мере необходимости осваивала его самостоятельно.

Итак, я оказалась в классе, где уже год изучали немецкий язык, но я с четырёх лет ходила в немецкую группу, так что особых проблем в этом смысле у меня

не возникло. Однако осваивалась я в новом коллективе непросто. У нас в классе тоже было много взрослых девиц, а кроме того, поскольку в ходе реформы обучения объединили девочек из разных школ, то ученицы ещё долго держались отдельными группками, и настоящей дружбы в классе не было. Кроме того, очень чувствовалось и социальное расслоение – дети из интеллигентных семей были в меньшинстве. Тем не менее, рано или поздно я вполне адаптировалась, особенно, когда после седьмого класса многие девочки поступили в техникум. В восьмой класс тогда, как уже было сказано, никого насильно не тянули, туда шли большей частью ребята способные, а те, кто послабее, тянулись за ними. Я кончала школу в 1951 году и могу удостоверить, что выпускники тех лет были исключительно сильными, причём не только в Москве. В моей студенческой группе Московского горного института были ребята из детских домов – сироты войны и дети наших репрессированных сограждан; многие приехали учиться в Москву из маленьких городов и даже районных центров. Их учили в школах добросовестные учителя по единой программе, по стабильным единообразным учебникам. На приёмных экзаменах в вузы они должны были продемонстрировать знания, полученные в рамках той же самой программы – вот люди и поступали, и прекрасно учились. Ни о каких репетиторах в то время и не слыхивали...

А моя новая школа мне сразу очень понравилась: прекрасное четырехэтажное здание с большими светлыми классами и широкими коридорами. Правда, как это ни странно, в школе не было ни актового, ни спортивного зала. Торжественные собрания и конференции у нас проводили в широком коридоре четвёртого этажа: туда приносили столы, покрывали их красным сукном, расставляли стулья и скамьи. А потом всё это куда-то убиралось...

Физкультурой мы занимались в коридоре на первом этаже школы. Из спортивных снарядов имелся только один «козёл», и мы через него охотно прыгали не только на уроках, но и на переменах, причём совершенно бесконтрольно. Обычно мы бежали друг за другом и с разбегу перемахивали через этот далеко небезопасный снаряд. Только после того, как кто-то из девочек получил серьёзную травму, нашего кожаного любимца куда-то унесли... Позже, когда я была уже классе в шестом или седьмом, на первом этаже соединили два смежных класса, подрыли в них пол и сделали неплохой спортивный зал, где уже были разновысокие брусья, перекладина, маты и другое оборудование.

...Той последней военной зимой топили плохо, в домах было холодно, отцы у многих были на фронте, матери – с утра до ночи на работе, и школа была настоящим прибежищем, как маленьким детям, так и большим. Там было светло и тепло, в столовой кормили обедами, причём сироты и дети из малоимущих семей получали питание бесплатно. Кроме того, всем ежедневно выдавалось по две баранки и по две полосатые конфетки-подушечки... О любимая услада нашего военного детства! Сверху эти подушечки были леденцовые, а внутри наполнены вареньем, которое легко вытекало, поэтому подушечки часто слипались... Мне кажется, никаких других конфет, кроме этих подушечек, и не было. Разве вот только леденцы-петушки на палочках...

Наш директор Лидия Алексеевна Померанцева была заслуженным деятелем школьного образования, депутатом Моссовета и пользовалась большим авторитетом в городе. Поэтому она имела возможности выхлопотать путёвку в санаторий больной учительнице, отправить в лесную школу слабую здоровьем девочку и даже помочь семьям, которые жили в экстремально тяжёлых условиях.

...Одна из моих одноклассниц обитала в абсолютно непригодном для жилья подвале старого запущенного здания. Проходя мимо этого дома по дороге в школу, я видела сквозь пыльное окно узкую, похожую на щель комнату, периодически заливаемую водой. На кровати, ножки которой были погружены в тёмную жидкость, сидели две бледненькие девочки. Ужас! Не удивительно, что эти дети были слабые и болезненные, просто, можно сказать, погибали... Но Лидия Алексеевна в первые послевоенные годы сумела выхлопотать для этой бедной семьи солнечную комнату на втором этаже соседнего со школой дома. Девочки несколько раз получали бесплатные путёвки в санаторий. Постепенно они начали поправляться и радоваться жизни. Обе отлично закончили школу, и получили высшее образование...

Школа умело организовывала досуг детей, причём в этом большую роль играли наши пионервожатые – девочки из старших классов. Они устраивали интересные сборы, руководили работой кружков, направляли нашу самодеятельность. На переменах чуть ли не на каждой площадке девочки репетировали нехитрые пьески из школьной жизни, плясали и пели. Специальных помещений для репетиций, конечно, не было.

Той последней военной зимой после преобразований 1943 года учебный процесс вполне вошёл в свою колею. Правда, полагавшейся ученикам школьной формы тогда ещё ни у кого не было: все ходили очень плохо одетыми, у многих девочек из-под платьев торчали шаровары, поддеваемые для тепла. О сменной обуви никто и не помышлял, но в дождливую и холодную погоду на башмаки и на валенки все надевали галоши, а придя в школу, их снимали, клали в специальный мешок и вешали в гардеробе. Так что в школе было чисто. Другое дело, что поиски потерянных галош и утраченных мешков было, что называется, «злостью дня» и неизменной темой юмористических рассказов и сценок. Хотя в подобной ситуации иной раз было не до смеха.

В магазинах уже свободно продавались тетрадки: одни были из плохой серой бумаги, другие – из гладкой и белой; в тетрадки были вложены голубые, зелёные, розовые «промокашки» – наши пособия в борьбе с кляксами. Выпустили новые учебники, но их обычно выдавали на двоих; правда, можно было купить книжки более старых изданий «с рук». В школе уже были «казённые» чернила; они наливались в конусообразные чернильницы, которые вставлялись в специальные отверстия в парте. Правда, видимо, в целях экономии этими чернильницами снабжались не все парты, а через одну: скажем, только вторая, четвёртая и шестая в ряду. И получалось так, что ученицы, сидевшие на первой, третьей и пятой партах, чтобы обмакнуть перо в чернильницу, должны были периодически оборачиваться назад. Это постоянное «верчение» было очень неудобно, но способствовало

формированию своеобразных производственных «мини-коллективов»: в случае необходимости можно было обменяться мнениями, а во время контрольной работы спросить или подсказать что-нибудь...

Автоматических ручек в то время, по крайней мере для нас, не существовало, да и когда появились первые чернильные «самописки», нам не разрешали ими пользоваться. Даже экзамены на аттестат зрелости в 1951 году мы писали химическими чернилами и очень тряслись, чтобы не поставить кляксу на экзаменационном листе. Шариковые ручки появились позже – видимо, только в шестидесятых годах – и это новшество также не сразу пробило себе дорогу. Во всяком случае, когда моя дочка пошла в школу – а было это в 1972 году – ещё дебатировался вопрос о том, можно первоклассникам писать шариковыми ручками или нельзя...

Сейчас мы вспоминаем об этом с улыбкой, и на самом деле, подумаешь: мало чернильниц, не изобрели ещё авторучек... В конце концов, если надоедало «вертеться», можно было принести в класс знакомые всем непроливайки и писать себе деревянными ручками-вставочками с отличными перьями – «Рондо», «Лягушечка» или «№ 86»... Гораздо важнее то, что у нас были замечательные учителя. Они были очень скромно одеты, питались в школьной столовой, часто приводили на уроки своих детей, так как их не с кем было оставить дома... Но они не жаловались на низкую зарплату, недоедание и квартирную тесноту. Они просто нас любили и работали с полной отдачей своих сил и знаний...

Наша «главная учительница» – Александра Спиридоновна – была высокой, очень красивой женщиной и талантливым педагогом. Она была в меру строга и в то же время бесконечно добра к нам. В детях она стремилась пробуждать творческое начало: решала с нами в классе трудные задачи «на смекалку», поощряла дополнительные сообщения учениц на уроках по устным предметам, а изложения и сочинения мы с ней писали систематически. Правда, иначе было и нельзя: ведь на ежегодных экзаменах по русскому языку школьники с четвёртого по седьмой класс писали изложения, а с восьмого по десятый – сочинения.

...1989 году отмечалось пятидесятилетие нашей 610-ой школы, вернее, построенного перед войной школьного здания – до войны школа числилась под другим номером. Пришло очень много народу, и, что характерно, вспоминали больше всего нашу учёбу в последние военные годы и наших замечательных учителей...

При рациональной системе обучения – а именно таким был учебный процесс, скопированный с дореволюционной гимназической системы, в свою очередь следовавшей за устоявшейся педагогикой европейских стран – у детей остается достаточно времени для игр и развлечений. В последний военный год московские дворы звенели от ребячьих голосов: люди возвращались из эвакуации, подросшие дети встречали старых друзей, вспоминали прежние игры, делились новыми впечатлениями. Холодная московская зима располагала к занятиям спортом... Лыж тогда почти ни у кого не было, а вот с коньками ситуация была как-то проще...

После возвращения в Москву мы с Сашей получили в подарок пару коньков «Снегурочка» на двоих. Эти коньки прикручивались к валенкам с помощью верёвок и палочек, после чего на них можно было кататься не только по льду, но и по

снегу где-нибудь около дома. А так как конёк привязывался к одной ноге, то конькобежец, ковыляя по плохо расчищенному тротуару, практически, не падал. Правда, вскоре как-то само собой получилось, что наши «снегурочки» поступили в Сашино полное распоряжение, и он научился кататься очень хорошо. Позднее у меня тоже появились собственные коньки – «гаги», и я ходила на каток и с Сашей, и с девочками из класса. На коньках во времена моей молодости катались, буквально, все. По воскресеньям к кассам Парка культуры (ЦПКиО), где заливали несколько катков, стояли очереди через весь Крымский мост. У нас в классе многие девочки прекрасно катались, даже брали призы на соревнованиях. Но, что касается меня, то теперь, спустя много лет, я могу признаться, что настоящей любви к конькобежному спорту не испытывала, скорее, просто не хотела отставать от подружек. Каталась я неважно и по-настоящему чувствовала себя счастливой только в тот момент, когда по радио, наконец, раздавалось: «До свиданья, москвичи, до свиданья!» – Под эту песню Леонида Утёсова мы уходили с катка, и я испытывала удовлетворение от того, что покаталась вместе со всеми, да притом ещё руки и ноги целы...

Любимым нашим развлечением было кино. В Москве с полной нагрузкой работали кинотеатры, демонстрировались как художественные, так и хроникальные фильмы: люди хотели не только слышать новости по радио, но и видеть происходящие события. Поэтому перед каждым художественным фильмом в то время обязательно показывали киножурнал «Новости дня», и существовали специализированные кинотеатры, например, московская «Хроника», которая функционировала долгие годы и после войны. Мы ходили в кино часто; были специальные утренние детские сеансы, но детей свободно пускали и на дневные сеансы, и мы смотрели много советских, а также зарубежных фильмов, которые тогда называли «трофейными». Картины эти конечно же были о любви, но в то время кинорежиссёры не стремились шокировать публику, и дети могли смотреть любой фильм без ущерба для своей нравственности. Помню, верхом фривольности считалась картина «Девушка моей мечты» с Марикой Рёкк в главной роли... Мне кажется, что тогда же или чуть позже я впервые увидела мультипликацию: американский полнометражный кинофильм «Бэмби» – и была поражена. Оленёнок Бэмби, его родители и другие животные казались мне живыми, я не могла поверить тому, что все персонажи картины нарисованы...

В сезоне 1944-45 гг. уже вернулись в Москву из эвакуации и нормально функционировали почти все театры. Помню, мы всем классом ходили в Театр юного зрителя на спектакль «Финист - ясный сокол» и в Центральный детский театр. Впрочем, видимо, некоторые зрелищные учреждения работали и в предыдущие годы. Наша одноклассница Нина Дёмина, пережившая в Москве всю войну, говорила нам, что осенью 1942 года, когда открылись школы и дети начали снова учиться, они в военные годы даже ходили в театр. «Мы сидели в зале одетыми – было холодно – и угощались печёной картошкой и чёрными сухариками», – рассказывала Нина...

...А между тем время шло всё вперёд и вперёд. В доме у нас дали газ. В Москве открылись коммерческие магазины, где можно было купить кое-что из продуктов без карточек, но по более высоким, коммерческим, ценам. А главное, война двигалась к завершению, это очень чувствовалось. Наши войска наступали на всех фронтах, салюты по поводу освобождения городов производились иногда по нескольку раз в день. Наша армия заканчивала освобождение Украины и Белоруссии и уже выходила на территории сопредельных стран Европы.

И вот Берлин взят. Над Рейхстагом реет советское знамя. С часу на час все ждут подписания Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Это событие произошло в ночь на 9 мая 1945 года; я уже спала и узнала об этом только утром. Мама рассказывала, что весь наш дом не спал, во всех квартирах были открыты двери и окна, люди поздравляли друг друга, обнимались и плакали...

...Вечером 9 мая мы все собрались у бабушки Анны Харитоновны. В этот день всем хотелось быть вместе, и надежды на возвращение наших родных, пропавших без вести на фронтах войны, крепили на фоне всеобщего радостного возбуждения. «Они вернуться, они обязательно вернуться!» – говорили взрослые о тех, кого они ждали до последних дней своей жизни...

А потом мы все пошли на Красную площадь – бабушка жила совсем рядом с ней. Всё пространство огромной площади было забито народом, мы шли в густой толпе, и взрослые крепко держали нас за руки. Несмотря на огромную массу людей, не было ни давки, ни грубости, часто сопутствующих большому скоплению народа. Все были переполнены радостью и доброжелательностью друг к другу. Иногда в каких-то точках общее движение замедлялось, и образовывался «водоворот», в центре которого подбрасывали человека в военной форме. «Качать фронтовика! С победой! Ура! Ура!!»

Вечернее небо было изрезано лучами прожекторов. Прогремел праздничный салют... Кончилась война! Кончилась война!!

Кончилась война!!!

Литературно-художественное издание

Надежда Марковна Менькова

ГОДЫ ВОЕННОГО ДЕТСТВА

Фрагменты воспоминаний

Редактор Л.А. Казанков

Подписано к печати 11.07.2008. Формат 60x84 1/16. Печать офсетная.

Бумага офсетная №1. Печ. Л. 7,5. Тираж 60 экз. Заказ 6089 .

ЗАО «Книга и Бизнес»

103050, г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр. 2

Отпечатано с готового оригинал-макета

в ФГУП «Производственно-издательский комбинат ВИНТИ»

140010, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский пр-т, 403.

Тел. 554-21-88